Анатоль Франс

Преступление Сильвестра Бонара

Longsoft февраль 2007 http://ocr.krossw.ru

”Преступление Сильвестра Бонара. Остров пингвинов. Боги жаждут”:

Художественная литература; Москва; 1970

Оригинал: Anatole France, “Le Crime de Silvestre Bonnard”

Перевод: Е. Ф. Корш

Аннотация

Действие романа “Преступление Сильвестра Бонара” происходит в Париже 1860-1880-х гг. Его герой - старый книжник, одержимый благородной страстью к старинным рукописям, очень близок самому автору. Под каждым словом этого объяснения в любви родному городу мог бы подписаться и сам Анатоль Франс - сын букиниста, парижанин, ставший одним из самых знаменитых писателей Франции и Европы.

Анатоль Франс.

Преступление Сильвестра Бонара, академика.

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

ПОЛЕНО

24 декабря 1861 года.

Я переоделся в халат и надел туфли; отер слезу, выступившую мне на глаза от холодного, резкого ветра, задувавшего с набережной. В камине пылал яркий огонь, озаряя мой кабинет. На оконных стеклах распустились листьями папоротника ледяные узоры, скрыв от меня Сену, ее мосты и Лувр династии Валуа*.

---

* Лувр династии Валуа - то есть наиболее старинная часть дворца, служившая в XIV в. резиденцией королям династии Валуа. Дворец Лувр, заложенный в первые годы XIII в., в последующие столетия постоянно расширялся, достраивался и был завершен только в XIX в.

Придвинув кресло и столик к топке, я занял место, милостиво оставленное мне Гамилькаром. Перед решеткою камина, на перинке, клубком свернулся Гамилькар*, уткнувшись носом в лапы. Густой и легкий мех его вздымался от ровного дыхания. Когда я подошел, он мягко глянул агатовыми зрачками сквозь полусомкнутые веки и тотчас их закрыл, подумав: “Ничего, это друг”.

---

* Гамилькар. - Любимый кот Сильвестра Бонара носит имя знаменитого карфагенского полководца (III в. до н. э.).

- Гамилькар! - обратился я к нему, вытягивая ноги. - Гамилькар, дремлющий принц обители книг и ночной страж, ты защищаешь от подлых грызунов рукописи и книги, приобретенные старым ученым благодаря его скромным сбережениям и неослабному усердию. Среди безмолвия библиотеки, хранимой твоею воинской доблестью, Гамилькар, спи в неге, подобно султанше: ибо ты сочетаешь в облике своем грозный вид татарского воина с ленивой грацией восточной красавицы. Героический и сластолюбивый Гамилькар, спи до того часа, как в лунном свете запляшут мыши перед Acta Sanctorum * ученых болландистов**.

---

* “Жития святых” (лат.)

** Болландисты - монахи, составлявшие многотомные “Жития святых”; название - от имени антверпенского иезуита Болланда (XVII в.), который первым начал этот труд.

Начало этой речи понравилось Гамилькару, вторившему ей горловым звуком, похожим на клокотанье чайника. Но, как только я возвысил голос, Гамилькар, прижав к голове уши и морща полосатый лоб, предупредил меня, что декламация такого рода вовсе неуместна.

Он мыслил:

”Этот старокнижник говорит без толку, а вот наша Тереза

произносит слова, всегда исполненные смысла и реального значения, то возвещая еду, то обещая порку. Знаешь, о чем идет речь. Этот же старик соединяет звуки, не значащие ничего".

Так думал Гамилькар. Предоставив ему свободу размышлять по-своему, я раскрыл книжку и стал читать с особым интересом, ибо то был каталог рукописей. Не знаю чтения более легкого, приятного и завлекательного, нежели чтение каталогов. Данный каталог, составленный в 1824 году библиотекарем сэра Томаса Ралея, господином Томпсоном, грешит, правда, чрезмерной краткостью и не дает той точности, какую архивисты моего поколения первыми ввели в палеографию* и дипломатику**. Он оставляет место для разных пожеланий и догадок. Вот почему, быть может, при чтении его я погружаюсь в состояние, какое в натуре, больше одаренной воображеньем, следовало бы назвать мечтательностью. Я мирно отдавался блужданью своих мыслей, когда моя домоправительница угрюмо доложила, что меня спрашивает г-н Кокоз.

---

* Палеография - вспомогательная историческая дисциплина, которая по особенностям рукописи определяет ее происхождение и время написания.

** Дипломатика - определяет подлинность исторических документов.

Кто-то действительно проник за ней в библиотеку. Это был человек маленького роста - бледный, тщедушный человечек в поношенной визитке. Человечек направился ко мне, приветствуя меня улыбочками и кивками головы. Но он был очень бледен и, несмотря на молодость и живость, имел вид больного. При взгляде на него я мысленно представил себе раненую белку. Под мышкой он принес зеленый узел и водрузил его на стул, затем,

развязав четыре конца свертка, открыл передо мною кипу желтых книжек.

- Сударь, я не имею чести быть вам знаком, - сказал он. - Я книжный агент, представитель главных столичных фирм, и в надежде, что вы почтите меня своим доверием, беру на себя смелость предложить вам несколько новинок.

Боги милостивые! Боги праведные! Что за новинки предложил мне гомункул* Кокоз! Первый том, врученный мне, оказался “Историей Нельской башни”** с любовными приключениями Маргариты Бургундской и капитана Буридана.

---

* Гомункул (лат. homunculus) - человеческое существо, которое будто бы умели искусственно создавать средневековые алхимики. Гете в “Фаусте” (ч. II) рисует гомункула как символ мещанской ограниченности. В близком смысле употребляет это слово и Сильвестр Бонар.

** История Нельской башни. - Башня старинного Нельского особняка в Париже связывалась с именем французской королевы Маргариты Бургундской, жены Людовика X, которая была будто бы удушена (1315) по приказу короля за любовную связь с капитаном Буриданом. Этот сюжет, не раз использованный в литературе, приобрел популярность благодаря романтической драме А. Дюма-отца “Нельская башня” (1832).

- Это книга историческая, - пояснил он, улыбаясь, - история правдивая.

- В таком случае она скучная, - ответил я, - ибо книги исторические, когда не лгут, бывают очень нудны. Я сам пишу книги правдивые, и если б, на свое несчастье, вы стали предлагать любую по домам, то рисковали бы носить ее в вашей зеленой сарже до конца дней своих, не находя даже кухарки, способной по наивности купить такую книгу.

- Разумеется, сударь, - согласился человечек чисто из любезности.

И, продолжая улыбаться, показал мне “Любовь Элоизы и Абеляра”*, но я дал ему попять, что в моем возрасте не до любовных приключений.

---

* Любовь Элоизы и Абеляра. - Сохранившаяся переписка средневекового богослова и поэта Пьера Абеляра и его возлюбленной Элоизы (XI в.) рисует трагическую историю насильно разлученных любовников, ставших жертвами религиозного фанатизма и ханжества.

Все еще с улыбкой, он предложил мне “Игры для развлечения общества”: правила игры в пикет, безик, экарте, вист, шашки, шахматы и кости.

- Увы, - сказал я, - если хотите мне напомнить правила безика, верните на землю старого друга моего Биньяна, с которым играл я в карты каждый вечер до той поры, когда все пять академий торжественно свезли его на кладбище, или низведите до вздорности игр человеческих серьезный ум Гамилькара, спящего перед вами на подушке, теперь единственного, кто разделяет со мною вечерние досуги.

Улыбка человечка стала бледной и тревожной.

- Вот, - сказал он, - новый сборник развлечений в обществе: шутки, каламбуры, а также способ превращать красную розу в белую.

Я ответил, что розы уже давно со мною не в ладах, а шуток с меня достаточно и тех, какие дозволяю я себе в научных изысканиях, помимо своей воли.

Гомункул протянул мне последнюю книгу с последней своей улыбкой:

- Вот “Сонник”, разъясняющий всевозможные сны: о золоте, ворах, о смерти, о падении с высокой башни… Это самый полный.

Я взял каминные щипцы и, оживленно помахивая ими, ответил моему коммерческому гостю:

- Да, мой друг, но и эти сны, как тысяча других, веселых и трагичных, все сводятся лишь к одному - сну жизни; а даст ли ваша желтая книжонка его разгадку?

- Конечно, сударь, - ответил гомункул. - Книга самая полная и недорогая: франк двадцать пять сантимов.

Я не продолжил разговора с книгоношей. Не стану утверждать, что произнес именно те слова, какие привожу. Возможно, что в письменной передаче я их немного и распространил. Очень трудно соблюсти буквальную истину даже в дневнике. Но если самые слова были не совсем те, то смысл их передан верно.

Я кликнул домоправительницу, так как звонков у меня в квартире нет.

- Тереза, проводите, пожалуйста, господина Кокоза; а впрочем, у него есть книга, быть может интересная для вас. Это “Сонник”. Буду счастлив преподнести его вам.

Тереза ответила:

- Коли нет времени грезить наяву, так уж во сне-то и подавно, слава богу! У меня довлеет дневи злоба его, а злобе - день, и каждый вечер я могу сказать: “Господи, благослови меня, отходящую на покой”. Не вижу снов ни стоя, ни лежа и не принимаю свой пуховик за черта, как то случилось с моей родственницей. А ежели позволите мне сказать, так. по-моему, книг здесь и без того достаточно: у вас, барин, их не одна тысяча, и от этих-то голова у вас идет кругом, а с меня хватит и моих двух - молитвенника да поваренной книги.

С этими словами Тереза помогла человечку запаковать в зеленую саржу его товар.

Гомункул Кокоз больше не улыбался. Его унылое лицо выражало такое

страдание, что я раскаялся в своих насмешках над столь несчастным человеком. Я вернул его, сказав, что мельком подметил у него экземпляр "Истории Эстеллы и Неморена", что очень люблю пастухов и пастушек и охотно бы купил за сходную цену историю этих двух безупречных любовников.

- Я отдам вам эту книгу за франк двадцать пять, - ответил мне Кокоз с сияющим от радости лицом. - Это историческая книга, вы будете довольны. Теперь я знаю, что вам подходит. Вижу, вы знаток. Завтра принесу вам "Папские преступления". Отличная книга. Доставлю любительский экземпляр, с картинками.

Я попросил его не беспокоиться, но все же он ушел довольный. Когда зеленый узел вместе с книгоношей исчез во мраке коридора, я спросил домоправительницу, откуда к нам свалился этот жалкий человечек.

- Подлинно, что свалился, - ответила она. - К нам он свалился с крыши, где живет с женой.

- Вы говорите, Тереза, - у него жена? Чудно! Женщины престранные создания. Наверно, это плохонькая женщина.

- Хорошо не знаю, какова она, - ответила Тереза, - но вижу каждый божий день, как она треплет по лестнице свои шелковые платья в сальных пятнах. Глаза у нее так и светятся, а по чести говоря, разве такие глаза и шелковые платья подобают женщине, которую приютили тут из милости? И на чердак-то их пустили только на время, пока чинится крыша, лишь ради того, что муж болен, а жена в интересном положении. Привратница как раз сегодня говорила про нее, что она с утра почувствовала схватки, и сейчас ее уложили в постель. Очень им нужен этот ребенок!

- Тереза, он несомненно им не нужен. Но природа захотела, чтобы они произвели на Свет ребенка; она поймала их в свою ловушку. Нужно примерное благоразумие, чтобы избегнуть хитростей природы. Так пожалеем их и не станем осуждать. А что до шелковых платьев, то нет женщины, которая бы не любила их. Дщери Евы любят наряды. Вы сами, Тереза, такая степенная, разумная, - а какой крик вы поднимаете, если не окажется у вас белого фартука, когда вам надо подавать к столу. Скажите-ка, есть ли у них на чердаке все необходимое?

- Ну, откуда у них быть? Муж, которого вы видели, был агентом по ювелирной части, как сказывала мне привратница, и неизвестно почему бросил торговать часами. Теперь торгует альманахами. Разве это приличное занятие? И никогда я не поверю, что бог дарует свое благословение торговцу альманахами. А между нами, жена его, судя по всему, - дрянь: где день - где ночь. Сдается мне, она годна воспитывать ребенка, как я - играть на гитаре. Невесть откуда взялись они, но только я уверена, что прибыли они по Нищей дорожке из Беззаботной стороны.

- Откуда бы ни прибыли, они несчастны, Тереза, а на чердаке холод.

- Еще бы! Крыша прохудилась в нескольких местах, и дождевая вода проходит на чердак. У них нет ни белья, ни мебели. Ни столяр, ни ткач не работают, думается мне, на эдаких христиан.

- Очень печально, Тереза. И вот вам - христианка, а обеспечена необходимым хуже, чем сей язычник Гамилькар. Что говорит она сама?

- С такими людьми я никогда не разговариваю. Не знаю, ни что она говорит, ни что она поет. А поет она целый день. Я слышу ее с лестницы и когда ухожу из дома и когда возвращаюсь.

- Ну что ж! Наследник Кокоза может сказать, как яйцо в деревенской загадке: “Мать произвела меня с песней”. Подобный же случай был и с Генрихом Четвертым. Жанна д’Альбре, почувствовав предродовые боли, запела старинное беарнское песнопение:

Божья матерь с конца моста,

Помоги мне в этот час.

За меня проси у бога, -

Чтоб не тяжки были роды,

Чтоб сыночка мне родить.

Конечно, производить на свет несчастных неразумно. Но, милая моя Тереза, это происходит ежедневно, и всем философам мира не удается изменить этот глупый обычай. Госпожа Кокоз ему последовала - и поет. И хорошо делает. Скажите-ка, Тереза, вы варите сегодня суп?

- Варю, и сейчас самое время снять пену.

- Очень хорошо! Но не преминьте, Тереза, отлить из котелка добрую мисочку бульона и отнести ее нашей сверхсоседке, госпоже Кокоз.

Моя домоправительница было ушла, но я добавил весьма кстати:

- Тереза, прежде всего будьте добры позвать вашего приятеля дворника: накажите ему взять у нас в сарае хорошую вязанку дров и отнести ее к Кокозам на чердак. И особливо пусть не забудет положить в вязанку большое полено - настоящее рождественское полено. Что же касается гомункула, прошу вас, если он придет опять, не пускать дальше моей двери - ни его самого, ни желтых его книжек.

Сделав эти мелкие распоряжения с утонченным эгоизмом старого холостяка, я снова принялся за чтение каталога.

С каким трепетом, с каким волнением, с каким смятением обнаружил я там заметку, которую я даже не могу сюда переписать без дрожи в руке:

”Златая легенда Иакова Генуэзца (Иакова Ворагинского),

французский перевод, маленькое in quarto.

Эта рукопись XIV века, кроме довольно полного перевода

известного сочинения Иакова Ворагинского, содержит: 1) жития

святых Ферeоля, Феруция, Жермена, Винцента и Дроктовея; 2)

поэму “О чудесном погребении святого Жермена Осерского”.

Перевод, жития и поэма принадлежат перу клирика Жана Тумуйе.

Рукопись, на тонком пергаменте, заключает большое

количество титульных букв и две миниатюры изящного письма, по

плохой сохранности: одна изображает Сретенье господне, другая -

” Венчанье Прозерпины” *.

---

* “Венчанье Прозерпины” - сюжет из античной языческой религии, в противоположность христианскому сюжету миниатюры “Сретенье господне”.

Какое открытие! Пот выступил у меня на лбу, и затуманились глаза. Я вздрогнул, покраснел и, не в силах говорить, испытывал потребность громко крикнуть.

Какое сокровище! Сорок лет я изучаю христианскую Галлию, в особенности - славное аббатство Сен-Жермен-де-Пре*, откуда вышли короли-монахи, основатели нашей французской династии. И, несмотря на преступную неполноту такого описанья, мне было ясно, что рукопись исходит из этого великого аббатства. Об этом говорило все: жития, добавленные переводчиком, относились все к основанию аббатства благочестивым королем Хильдебертом. Особо знаменательно житие святого Дроктовея, первого аббата моего дорогого аббатства. Французская поэма, касающаяся погребения святого Жермена, вела меня в самый неф досточтимой базилики, этой колыбели всей христианской Галлии.

---

* Аббатство Сен-Жермен-де-Пре - древнее французское аббатство, было основано в vi в. королем Хильдебертом I из династии Меровингов. Ко времени жизни Сильвестра Бонара от него осталась только церковь в центре Парижа, на левом берегу Сены.

Златая легенда сама по себе является пространным и вместе с тем изящным произведением. Иаков из Ворагина, дефинитор ордена святого Доминика и архиепископ генуэзский, собрал в XIII веке предания о католических святых и составил такой богатый сборник, что по монастырям и замкам воскликнули: “Вот Златая легенда! ” Златая легенда отличается особой полнотою в части итальянской агиографии*. Галлам, алеманнам, Англии отведено там небольшое место. Великие святые Запада видны этому генуэзцу сквозь дымку холодного тумана. Поэтому аквитанские, германские и англо-саксонские переводчики этого прекрасного житийника взяли на себя заботу добавить к его рассказу жизнеописания своих святых.

---

* Агиография - род церковноисторической литературы, включает “Жития святых” и жизнеописания деятелей церкви.

Я прочел и сличил немало рукописей Златой легенды . Мне знакомы и те, что описал мой ученый коллега господин Полен Парис* в отличном каталоге рукописей королевской библиотеки. Две из них особо привлекли мое внимание. Одна - XIV века, содержащая перевод Жана Беле; другая, веком моложе, заключает в себе извод Жака Винье. Обе из собрания Кольбера** и помещены на полках славной Кольбертины заботами библиотекаря Балюза***, чье имя я не могу произнести, не снявши свою шапочку, ибо даже в тот век гигантов эрудиции Балюз поражает нас своим величием. Мне известен очень любопытный свод из собрания Биго****; я знаком с семьюдесятью четырьмя печатными изданиями, начиная с

достопочтенного их предка, готического страсбургского издания, начатого в 1471 и законченного в 1475 году. Но ни одна из этих рукописей, ни одно издание но содержат житий святых Фереоля, Феруция, Жермена, Винцента и Дроктовея, ни в одном нет имени Жана Тумуйе - словом, ни одна не исходит из аббатства Сен-Жермен-де-Пре. Все они в сравнении с рукописью, описанною господином Томпсоном, - солома рядом с золотом. И вот я видел своими глазами, осязал своими руками неопровержимое свидетельство о существовании этого памятника. Но что же сталось с самим памятником? Сэр Томас Ралей окончил дни на берегах озера Комо, взяв туда с собою часть благородных своих сокровищ. Куда ушли они по смерти этого тонкого любителя старины? Куда девалась рукопись Жана Тумуйе?

---

* Полен Парис (1800 - 1881) - ученый-филолог, специалист по средневековой литературе Франции.

** …из собрания Кольбера… - Жан-Батист Кольбер (1619 - 1683), министр короля Людовика XIV, был любителем старинных книг и владел большим собранием рукописей, которое впоследствии под названием “Кольбертины” вошло в фонд парижской Национальной библиотеки.

*** Балюз Этьен (1630 - 1718) - библиотекарь Кольбера, был широко образованным человеком, автором исторических трудов.

**** Собрание Биго. - Эмери Биго (1626 - 1689) - известный в свое время эрудит, составил богатейшую библиотеку, где имелись драгоценные старинные издания.

”Зачем, - подумал я, - зачем узнал я о существовании этой драгоценной книги, раз мне не суждено ею владеть или ее увидеть! Я устремился бы за ней в жгучую глубь Африки или во льды полярных стран, когда б узнал, что она там. Но я не знаю, где она. Не знаю, хранится ль под тройным

запором в железном шкафу ревнивого библиомана или плесневеет на чердаке у невежды. Я содрогаюсь при мысли, что, может быть, вырванные из нее листы служат покрышкой для банок с огурцами у какой-нибудь хозяйки”.

30 августа 1862 года.

Истомленный гнетущею жарой, я тихо шел по северной стороне набережных, у самых стен домов, и в теплой их тени лавки старинной мебели, гравюр и старых книг тешили мои глаза и говорили моему уму. Гуляя и разыскивая книги, я наслаждался мимоходом несколькими громкозвучными стихами поэта из Плеяды*, смотрел на изящный маскарад Ватто**, ощупывал глазами двоеручный меч, стальной подбородник, морион***. Что за массивный шлем и какая тяжелая кираса, бог ты мой! Доспехи гиганта? Нет, панцирь насекомого. Тогдашние люди были одеты в панцирь, как майский жук: их слабость была внутри. В противоположность им - наша сила внутри, а душа наша, во всеоружии знания, живет в тщедушном теле.

---

* Плеяда. - Имеется в виду кружок поэтов французского Возрождения, сформировавшийся в середине XVI в. и сыгравший важную роль в развитии национальной литературы. Центральная фигура “Плеяды” - поэт Пьер Ронсар.

** …изящный маскарад Ватто… - Сюжетами картин французского художника Жана-Антуана Ватто (1684 - 1721) часто служили придворные празднества, маскарады, галантные и театральные сцены.

*** Морион - легкая каска с высоким гребнем, принадлежавшая к доспехам стрелков, вооруженных аркебузами.

Вот пастельный портрет старинной дамы: лицо в нем полустерлось и помутнело, словно тень, чему-то улыбается; видна рука в ажурной митенке, держащая на атласных коленях болонку в лентах. Чарующей грустью наполнил меня этот образ. Да посмеются надо мною те, кто в душе своей не носит полустершейся пастели!

Как лошадь, зачуявшая конюшню, я ускоряю ход, приближаясь к своей квартире. Вот человеческий улей, - там есть и у меня своя ячейка, и я откладываю в ней чуть горьковатый мед науки. Тяжело взбираюсь по лестнице. Еще несколько ступенек - и я у своей двери. Но я не столько вижу, сколько угадываю по шуршанью шелка, что мне навстречу спускается женщина. Останавливаюсь и прижимаюсь к перилам. Идущая навстречу дама - бел шляпы, молодая - и поет; в сумраке глаза и зубы ее сверкают, ибо она смеется ртом и взглядом. Верно, это какая-нибудь соседка, и одна из самых дружелюбных. На руках у ней хорошенький ребенок - мальчик, совершенно голый, точно сын богини; на шейке серебряная цепочка с образком. Я вижу, как сосет он большой палец и глядит на меня глазами, широко раскрытыми на старую, но для него новую вселенную. Мать в это время смотрит на меня лукаво и загадочно; останавливается, кажется краснеет и протягивает ко мне маленькое существо. У ребенка хорошенькая складочка на шее, на запястье, и с головы до ног по розовому телу смеющиеся ямочки.

Мать с гордостью показывает его мне и мелодично говорит:

- Сударь, не правда ли, хорош мой мальчик?

Она берет его ручку, прикладывает ему к губам и отводит розовые пальчики по направлению ко мне.

- Деточка, пошли господину поцелуй. Он добрый: он не хочет, чтобы маленькие дети зябли. Пошли же ему поцелуй.

И, прижав к себе ребенка, она с кошачьим проворством исчезает в глубине коридора, ведущего, судя по запаху, на кухню. Вхожу к себе.

- Тереза, сейчас на лестнице я видел молодую мать с хорошеньким мальчишкой на руках, она без шляпы, - кто это может быть?

Тереза отвечает, что это г-жа Кокоз.

Смотрю на потолок, как бы ища там поясненья. Тереза напоминает мне о жалком книгоноше, приносившем альманахи в прошлом году, когда рожала его жена.

- А сам Кокоз? - спросил я.

Она ответила, что его я больше не увижу. Бедный человечек, без ведома моего и без ведома многих других, опущен в землю вскоре после благополучного разрешения г-жи Кокоз. Мне сообщили, что вдова утешилась; я последовал ее примеру.

- Однако, Тереза, быть может, там, на чердаке, госпожа Кокоз терпит в чем-нибудь нужду?

- Вы, сударь, крепко попали бы впросак, - ответила Тереза, - если бы стали заботиться об этой твари. Ее решили выдворить с чердака, когда починили крышу. Но она живет там, не обращая внимания на управляющего, привратницу, судебного пристава и самого хозяина. Сдается мне, она их всех околдовала. С чердака она уедет, когда ей вздумается, да и уедет-то в карете. Помяните мое слово!

С минуту Тереза думала, затем изрекла такую сентенцию:

- Хорошенькое личико - небесное проклятье.

Твердо зная, что Тереза от юности своей была дурнушкой, без малейшей привлекательности, я покачал головой и с мерзостным лукавством сказал ей:

- Э! Э! Тереза, мне известно, что в свое время и у вас было хорошенькое личико.

Не подобает искушать ни единое созданье в мире, даже самое святое.

Тереза потупила глаза и отвечала:

- Хоть я и не была, что называется, красавицей, но и нельзя сказать, чтоб и не нравилась. И кабы захотела, могла бы поступить, как прочие.

- Ну, кто же в этом усомнится? Все-таки примите мою палку и шляпу. А я для отдыха прочту несколько страниц из Морери*. Коль не обманывает меня мой старый лисий нюх, у нас сегодня на обед вкусно пахнущая пулярка. Займитесь этой почтенной птицей, дочь моя, и не судите ближнего, дабы не осудил он вас и вашего старого хозяина.

____

* Морери Луи (1643 - 1680) - автор “Большого исторического словаря”.

Сказав это, я принялся исследовать густые разветвления одной княжеской генеалогии.

7 мая 1863 года.

Зиму провел я в духе мудрецов - in angello cum libello*, и ласточки с набережной Малакэ по возвращении своем вновь обретают меня почти таким же, каким оставили. Кто мало живет, мало меняется; а тратить дни свои на старые тексты - это еще не жизнь.

____

* В уголке и с книжкой (лат.).

Однако сегодня, как никогда, я чувствую себя проникнутым той смутной

грустью, какою веет сама жизнь. Равновесие моего ума (не смею в том признаться и самому себе) нарушено со знаменательного часа, когда мне открылось, что существует рукопись Жана Тумуйе.

Странно, из-за нескольких листков старого пергамента я утратил покой; но это истинная правда. Бедняк, не знающий желаний, владеет величайшим из сокровищ: он обладает самим собою. Богач, желающий все большего, - жалкий раб. Таким рабом являюсь я. Самые приятные удовольствия - беседа с человеком тонкого и уравновешенного ума или обед с другом - не могут изгнать из моей памяти рукопись, отсутствие которой я чувствую с той минуты, как узнал, что она есть. Мне не хватает ее ни днем, ни ночью; мне не хватает ее ни в радости, ни в горе; не хватает ни в труде, пи в отдохновении.

Я невольно вспоминаю свое детство: как мне теперь понятны всемогущие желанья первых моих лет!

С особой четкостью я вижу куклу, выставленную в дрянной лавчонке на Сенской улице, когда мне было десять лет. Как произошло, что эта кукла мне понравилась, - не знаю. Я горд был тем, что я мальчик; я презирал девчонок и с нетерпеньем ждал поры (увы! наставшей), когда колючая бородка мне защетинит подбородок. Играл я лишь в солдатики, а для кормления своей деревянной лошадки истреблял цветы, взращенные моею матушкой на ее окне. То были мужские игры, думается мне. Однако я жаждал этой куклы. Бывают слабости и у Геркулесов! Но кукла, что полюбилась мне, была ли по крайности красивой? Нет. Я вижу и сейчас ее перед собой. На щеках - по красному пятну, короткие дряблые руки с ужасными деревянными кистями и длинные раскоряченные ноги. Цветастая юбка заколота на талии двумя булавками; как сейчас вижу их черные головки. То была кукла дурного тона, от нее отдавало предместьем. Хотя я был тогда совсем ребенок и лишь недавно стал носить штанишки, все же помню, как я по-своему, но очень живо чувствовал, что в кукле нет изящества и вида, что она груба, топорна. Но, несмотря на это, я любил ее, - любил именно за это. Любил только ее. Мечтал о ней. Солдатики и барабаны стали для меня ничем. Я больше не совал своей лошадке в рот стебельков гелиотропа и вероники. Эта кукла была для меня всем. Я измышлял достойные дикарей хитрости, чтобы заставить свою няньку Виргинию пройти со мною мимо лавки на Сенской улице. Там я прилипал носом к стеклу, а няньке приходилось оттаскивать меня за руку: “Господин

Сильвестр, уж поздно, маменька вас забранит”. В то время г-ну Сильвестру и брань и порка были нипочем. Но нянька поднимала его, как перышко, и г-н Сильвестр уступал силе. С возрастом он опустился и уступает страху. Тогда он не боялся ничего.

Я был несчастлив. Безотчетный, но непреоборимый стыд не позволял мне откровенно рассказать матери о предмете моей любви. Отсюда все мои страданья. В течение нескольких дней кукла не выходила у меня из головы, плясала перед моими глазами, пристально смотрела на меня, раскрывала свои объятья и в моем воображении обретала своего рода жизнь, становясь от этого таинственной и страшной, а тем самым - еще более желанной и дорогой.

И вот в один прекрасный день, памятный мне навеки, я был отведен няней к дяде моему, капитану Виктору*, пригласившему меня на завтрак. Я любовался дядей капитаном оттого, что при Ватерлоо он выпустил последний французский заряд, и оттого, что за столом у моей матери он собственноручно натирал кусочки хлеба чесноком и клал их в салат из цикорных листьев. Я находил это очень красивым. Большое уважение внушал мне дядя Виктор и сюртуками с брандебурами, а особенно своим уменьем ставить в нашем доме все вверх дном, как только он входил. До сей поры мне непонятно, чем достигал он этого, но утверждаю, что если дядя Виктор находился в обществе двадцати человек - было видно и слышно одного его. Мой замечательный отец не разделял, мне кажется, моего восторженного преклонения перед дядей Виктором, который отравлял его своею трубкою, по дружбе сильно стукал ему в спину кулаком и обвинял в отсутствии энергии. Матушка моя, при всей сестринской снисходительности к капитану, иногда просила его пореже выказывать свою любовь к графину с водкой. Но я был чужд всякому недовольству и упрекам: мне дядя Виктор внушал живой восторг. Поэтому с чувством гордости входил я в маленькую квартирку на улице Генего, где он проживал. Завтрак, накрытый на столике перед камином, состоял из закусок и сластей.

---

* …к дяде моему, капитану Виктору… - Прототипом этого персонажа А. Франсу послужил его дед со стороны матери, Дюфур, в прошлом - сержант наполеоновской армии.

Капитан пичкал меня пирожными и неразбавленным вином, рассказывал мне о многих несправедливостях, коих стал жертвою. Он выражал особенное недовольство Бурбонами, но упустил сказать мне, кто такие были Бурбоны, а я, не знаю почему, вообразил, что Бурбоны - это лошадиные барышники, обосновавшиеся в Ватерлоо. Капитан, переставая говорить лишь для того, чтобы налить вина, обвинял множество еще каких-то стервецов, мерзавцев и пройдох, неведомых мне совершенно, но глубоко ненавистных. За сладким мне послышалось, что капитан отзывается о моем отце, как о человеке, которого водят за нос; но я не очень-то уверен, так ли понял. В ушах у меня шумело, и мне мерещилось, что столик пляшет.

Дядя надел сюртук с брандебурами, взял цилиндр, и мы спустились на улицу, чрезвычайно вдруг изменившуюся, на мой взгляд. Мне казалось, что я давно здесь не был. Все же, когда мы очутились на Сенской улице, мысль о кукле вновь завладела мной и привела меня в необычайный восторг. Голова моя пылала. Я решился на великий шаг. Мы проходили мимо лавки; кукла была все там же, за стеклом, с теми же красными щеками и огромными ногами и в той же цветастой юбке.

- Дядя, - промолвил я с усилием, - не купите ли вы мне эту куклу?

И стал ждать ответа.

- Купить мальчишке куклу, черт возьми! - громовым голосом воскликнул дядя. - Ты хочешь осрамить себя! И это страстное желание вызвала в тебе такая баба! Поздравляю тебя, дружище! Если эти вкусы сохранятся у тебя и ты еще в двадцать лет будешь выбирать себе таких же кукол, предупреждаю: мало приятного получишь ты от жизни, а у товарищей своих прослывешь изрядным простофилей. Проси у меня саблю, ружье - я их куплю тебе, мой мальчик, на последний грош своей пенсии. Но купить куклу, тысяча громов! Покрыть тебя позором! Ни за что в жизни! Если бы я увидал, что ты играешь расфуфыренной на такой манер девкой, то,

милостивый государь, хоть вы и сын моей сестры, я не признал бы вас своим племянником.

От его слов у меня так сжалось сердце, что лишь гордость, дьявольская гордость помешала мне заплакать.

Дядя, сразу успокоившись, вернулся к мыслям о Бурбонах, но я так и остался подавленный его негодованьем, чувствуя невыразимый стыд. Мое решенье созрело быстро. Я дал себе обет не терять чести: я отказался навсегда и твердо от куклы с красными щеками. В этот день я познал суровую отраду жертвы.

Капитан! Пусть вы при жизни ругались, как язычник, курили, как швейцарец, и пили, как сапожник, да будет все-таки почтенна ваша память, - не только потому, что и всегда вы были молодцом, но также потому, что вашему племяннику в коротеньких штанишках открыли чувство героизма. Высокомерие и лень сделали вас, о дядя Виктор, почти невыносимым, но под брандебурами вашего сюртука билось великое сердце. Мне помнится, что вы носили в петлице розу. Этот цветок, обычно преподносимый вами продавщицам в магазинах, этот цветок, с его великодушно открытым сердцем, облетающий по воле всех ветров, был символ вашей славной юности. Вы не пренебрегали ни вином, ни табаком, но вы пренебрегали своей жизнью. У вас нельзя было научиться, капитан, ни деликатности, ни здравому смыслу, но меня, в том возрасте, когда мне нянька утирала нос, вы научили самоотречению и чувству чести, чего я не забуду никогда.

Вы давно покоитесь на кладбище Монпарнас под скромною плитою с эпитафией:

ЗДЕСЬ ПОГРЕБЕН АРИСТИД-ВИКТОР МАЛЬДАН

КАВАЛЕР ОРДЕНА ПОЧЕТНОГО ЛЕГИОНА

Не такую надпись вы, капитан, готовили для вашей бренной оболочки, повидавшей столько полей битв и столько злачных мест. Среди ваших

бумаг нашли вот эту горькую, но гордую эпитафию, которую, вопреки вашей последней воле, не решились поместить над вашею могилой:

ЗДЕСЬ ПОГРЕБЕН

ЛУАРСКИЙ РАЗБОЙНИК*

____

* Луарский разбойник. - После разгрома наполеоновской армии при Ватерлоо (1815) остатки ее под командованием маршала Даву были отведены за реку Луару, там интернированы союзниками, а затем распущены. Отсюда бранная кличка “луарский разбойник”, применительно к бывшим наполеоновским офицерам, пущенная в обиход сторонниками “реставрированных” на французском престоле Бурбонов.

- Тереза, завтра мы отнесем венок из иммортелей на могилу луарского разбойника.

Но Терезы здесь нет. Да и как ей оказаться близ меня па кругу Елисейских полей? Там, у конца аллеи, рисуется на фоне неба гигантский пролет Триумфальной арки, хранящей внутри на сводах имена соратников дяди Виктора. Под вешним солнцем зазеленели на деревьях первые, еще бледные и зябкие листочки. Мимо меня мчатся коляски в Булонский лес. Гуляя, я дошел до этой людной аллеи и безотчетно стал перед ларьком, где продают пряники и прохладительные напитки в графинах, заткнутых лимонами. Мальчик-нищий, в рубище на исцарапанном, проглядывающем сквозь лохмотья теле, смотрит широко раскрытыми глазами на эти роскошные сласти, предназначенные не для него. Свое желанье он выражает с бесстыдством невинности. Круглые глаза его уставились на большого пряничного человечка. Это - генерал, слегка похожий на дядю Виктора. Я плачу деньги, беру его и подаю бедняжке, но он не смеет

протянуть руку, наученный преждевременным опытом - не верить в счастье; он смотрит на меня с тем видом, какой бывает у больших собак, и словно говорит: “С вашей стороны жестоко смеяться надо мной”.

- Ну, глупыш, - сказал я своим обычным ворчливым тоном, - бери, бери и ешь; ты счастливее, чем я был в твои годы; ты можешь следовать своим наклонностям, не нанося себе бесчестья.

А вы, дядя Виктор, вы, чей мужественный облик напомнил мне этот пряничный генерал, придите достославной тенью и научите, как мне забыть теперь мою другую куклу. Мы - вечные дети и вечно тянемся за новою игрушкой.

В тот же день.

В моем уме семейство Кокоз причудливейшим образом сочеталось с клириком Жаном Тумуйе.

- Вот что, Тереза, - начал я, бросаясь в свое кресло, - расскажите мне, здоров ли маленький Кокоз, прорезались ли у него первые зубки, и дайте мне туфли.

- Зубкам полагалось быть уже давно, но я их не видала. В первый погожий весенний день мать исчезла вместе с ребенком, бросив мебель и все пожитки. На чердаке после нее нашли тридцать восемь банок из-под помады. Ну мыслимое ли это дело! За последнее время у нее бывали посетители; и надо думать, что она сейчас не в девичьем монастыре. Племянница привратницы сказывала, что повстречалась с Кокозихой где-то на Бульварах, и та ехала в коляске. Говорила я вам, что кончит она плохо.

- Тереза, эта женщина не кончила ни хорошо, ни плохо. Чтобы судить о ней, дождитесь конца ее жизни. И не болтайте слишком много с привратницей. Госпожу Кокоз я встретил лишь однажды на лестнице, и мне казалось, что своего ребенка она очень любит. Эту любовь надо ей зачесть.

- Правда, по этой части малыш не был обижен. Во всем квартале не сыскать другого, чтобы так был откормлен, обряжен и ухожен. Каждый божий день она повязывает ему чистый нагрудничек и с утра до вечера поет ему песенки, а он смеется.

- Тереза, один поэт сказал: “Ребенок, не видевший улыбки матери*, не достоин ни трапезы богов, ни ложа богинь”.

____

* Ребенок, не видевший улыбки матери… - завершающие стихи из четвертой эклоги Вергилия (книга “Буколики”).

8 июля 1863 года.

Узнав о ремонте каменного настила в часовне богоматери в Сен-Жермен-де-Пре, я отправился туда, надеясь разыскать какие-нибудь надписи, вскрытые рабочими. И не ошибся. Архитектор указал мне на могильный камень, отставленный к стене. Намереваясь разобрать высеченную на нем надпись, я опустился на колени и в сумраке древнего амвона прочел вполголоса слова, от которых усиленно забилось мое сердце:

Здесь покоится инок обители сей Жан Тумуйе,

сотворивший оклад серебряный на бороду

святого Винцента и святого Аманта

и на ноги младенцев, невинно убиенных.

При жизни был мужем честным и храбрым.

Творите молитву по душе его.

Я осторожно стер носовым платком пыль, покрывшую это надгробие; мне хотелось его поцеловать.

- Он, он, Жан Тумуйе! - воскликнул я.

И это имя, отпрянув от высоких сводов, с грохотом, точно разбившись, упало мне на голову.

Заметив немое степенное лицо привратника, поспешившего ко мне, я устыдился своего восторга и шмыгнул меж двух причетников, собиравшихся окропить меня святой водой.

А все же это мой Жан Тумуйе! Нет более сомненья: переводчик Златой легенды , автор житий святых Жермена, Винцента, Фереоля, Feруция и Дроктовея был, как я и предполагал, монахом в Сен-Жермен-де-Пре. И каким еще хорошим монахом - благочестивым и щедрым! Он обложил серебром подбородок, голову и ноги, чтобы защитить надежной оболочкой драгоценные останки. Но смогу ли я когда-нибудь ознакомиться с его твореньем, или суждено и этому открытию только умножить мои печали?

20 августа 1869 года.

”Я нравлюсь немногим, а испытываю всех, я - радость добрых и ужас злых, я, порождающий и разрушающий заблуждения, готов расправить свои крылья. Если в полете быстром несусь я над годами, не ставьте мне этого в вину”.

Кто это говорит? Старик, чересчур мне знакомый, - Время.

Шекспир, закончив третье действие “Зимней сказки”, останавливается,

чтобы маленькая Пэрдита успела “взрасти и в мудрости и в красоте”, и, открыв снова сцену, поручает древнему Косоносцу дать зрителям отчет* о днях, так долго тяготевших над головой ревнивого Леонта.

---

* …поручает древнему Косоносцу дать зрителям отчет… - Четвертое действие “Зимней сказки” Шекспира открывается монологом старца Времени, заменяющего хор древней трагедии: он рассказывает зрителям о том, какие события произошли за шестнадцать лет, отделяющие третье действие от четвертого.

Подобно Шекспиру, я в этом дневнике предал забвенью длинный промежуток жизни и, следуя примеру поэта, вызываю Время для объяснения пробела за шесть лет. В самом деле, вот уже шесть лет, как мной не вписано ни строчки в эту тетрадь, и теперь, когда я снова взялся за перо, мне, увы, не приходится описывать Пэрдиту*, “в прелести возросшую”. Молодость и красота - верные подруги поэта. Эти чарующие виденья нас, грешных, посещают лишь изредка. Мы не умеем удержать их. Когда бы тень какой-нибудь Пэрдиты силою неизъяснимого каприза задумала проникнуть в мою голову, она жестоко бы ушиблась о кучу заскорузлых пергаментов. Счастливцы поэты! Их седина не устрашает колеблющиеся тени Елен, Франческ, Джульетт, Юлий и Доротей**. А одного носа Сильвестра Бонара достаточно, чтобы весь рой великих возлюбленных пустился в бегство.

---

* Пэрдита - дочь короля Леонта, героиня “Зимней сказки”.

** …тени Елен, Франческ, Джульетт, Юлий и Доротей - то есть поэтические образы прекрасных женщин из мировых литературных памятников: Елена Троянская (греч. миф.), Франческа да Римини (Данте, “Божественная Комедия”, “Ад”, песнь V), шекспировская Джульетта, героини романа Ж.-Ж. Руссо “Юлия, или Новая Элоиза” (1761) и поэмы Гете “Герман и Доротея”

(1797).

Однако же прекрасное я чувствовал, как и любой другой, - я все же испытал когда-то таинственные чары, какими наделила одушевленные созданья непостижимая природа: живая глина вызывала во мне трепет, который создает любовников и поэтов. Но ни любить, ни воспевать я не умел. В душе моей, загроможденной грудой старинных текстов и древних форм, я обретаю вновь, как миниатюру в чердачном хламе, ясное личико с глазами цвета барвинка… Бонар! Друг мой! Вы старый сумасброд! Лучше читайте каталог, присланный вам сегодня утром от флорентийского книгопродавца. Это каталог рукописей, и он сулит вам описанье нескольких вещей, достойных внимания и сохраненных итальянскими и сицилийскими любителями старины. Вот что приличествует вам и подходит к вашему обличью.

Читаю и вскрикиваю. Гамилькар, с годами приобретя пугающую меня степенность, взирает на меня с упреком и как бы задает вопрос - есть ли в этом мире покой, ежели нельзя вкушать его возле меня, такого же старика, как и он сам?

Радость моего открытия нуждается в наперснике, и с излияниями счастливого человека я обращаюсь к безмятежному Гамилькару:

- Нет, Гамилькар, нет, покой не от мира сего; и то спокойствие, какого вы жаждете, несовместимо с трудами жизни. И кто сказал вам, что мы стары? Послушайте, что я читаю в этом каталоге, а после скажете, время ль отдыхать:

”Златая легенда Иакова Ворагинского; французский перевод XIV века, сделанный клириком Жаном Тумуйе.

Превосходная рукопись, украшенная двумя миниатюрами, замечательной работы и отличной сохранности, изображающими: одна - Сретенье господне, другая - Венчанье Прозерпины.

Вслед за Златой легендой идут жития святых Фереоля, Феруция, Жермена, Дроктовея, XXVIII страниц, и Чудесное погребение святого Жермена Осерского, XII страниц.

Эта драгоценная рукопись, входившая в собрание сэра Томаса Ралея, теперь хранится в кабинете рукописей г-на Микеланджело Полицци, в Джирдженти".

Гамилькар, вы слышите? Рукопись Жана Тумуйе находится в Сицилии, у Микеланджело Полицци. О, если б этот человек любил ученых! Напишу ему.

Я это тотчас же и сделал. В письме я просил синьора Полицци предоставить мне рукопись клирика Тумуйе, сообщая, па каком основании решаюсь я считать себя достойным подобной благосклонности. Одновременно я предлагал в его распоряжение кое-какие неизданные тексты, принадлежащие мне и не лишенные интереса. Я умолял его ответить поскорее и под своей подписью привел весь перечень своих почетных званий.

- Барин! Барин! Куда вы так бежите? - кричала испуганная Тереза, стремглав спускаясь по лестнице с моею шляпою в руке.

- Несу письмо на почту, Тереза.

- Господи боже! Ну можно ли так убегать - без шляпы, словно помешанный!

- Да, Тереза, я помешался. Но кто же не помешан? Давайте скорее шляпу.

- А перчатки, барин? А зонтик?

Я уже был внизу, но все еще слышал ее оханье и крики.

10 октября 1869 года.

Я ждал ответа от синьора Микеланджело Полицци, плохо скрывая нетерпенье. Мне не сиделось на месте; у меня появились резкие движенья; я шумно раскрывал и захлопывал книги. Однажды мне случилось сбросить локтем том Морери. Гамилькар, в то время умывавшийся, сразу остановился, подняв над ухом лапу, и глянул на меня сердитым оком. Такой ли шумной жизни мог ожидать он под моей кровлей? Не существовало ли между нами безмолвного условия - жить в тишине? А я нарушил этот договор.

- Мой бедный друг, - ответил я ему, - я жертва своевольной страсти, обуревающей меня и мной руководящей. Страсти - враги покоя, я согласен; но без них в мире не было бы ни промышленности, ни искусств. Всяк дремал бы голый на навозной куче, а ты, Гамилькар, не спал бы каждый день в обители книг, на шелковой подушке.

Я не мог далее развить перед Гамилькаром теорию страстей, ибо Тереза подала письмо. На нем был штемпель Неаполя, и оно гласило:

”Высокославный синьор!

Действительно, я владею несравненным манускриптом Златой

легенды , не ускользнувшим от вашего просвещенного внимания.

Важнейшие причины повелительно и тиранически противятся тому,

чтобы я расстался с ним хоть на единый день, хоть на единую

минуту. Для меня будет великой радостью и честью предоставить

его вам в моем джирджентском скромном доме, украшенном и

озаренном вашим присутствием. В нетерпеливой надежде на ваше

прибытие осмеливаюсь назвать себя вашим, господин академик,

покорным и преданным слугой.

Микеланджело Полицци , виноторговец и археолог в

Джирдженти (Сицилия)".

Ну что ж! Поеду в Сицилию:

Extremum hunc, Arethusa, mihi concede laborem*

____

* Дай мне теперь, Аретуза, труд мой исполнить конечный (лат.). - начальная строка десятой эклоги Вергилия (книга "Буколики"). Аретуза - нимфа, именем которой назван источник в Сицилии.

25 октября 1869 года.

Я принял решение и приготовился к отъезду, оставалось лишь уведомить Терезу. Должен признаться, что я долго не решался объявить ей о моем отъезде. Я опасался ее насмешек, попреков, слез и увещаний. Я думал: "Она добрая старушка, ко мне привязана; она станет удерживать меня; а богу одному известно, что если ей чего захочется, то за словами, жестами и криком она не постоит. В данном случае на помощь будут призваны - привратница, матрасница, семь сыновей фруктовщика и полотер; все станут на колени в круг у ног моих, начнется плач; и это будет так безобразно, что я им уступлю, лишь бы их не видеть".

Вот те ужасные картины, те больные думы, какие вызвал страх в моем воображении. Да, страх, страх плодовитый, как говорит поэт, породил всех этих чудовищ в моем мозгу. На этих задушевных страницах говорю, как на духу: я боюсь своей домоправительницы. Я знаю, что ей известна моя слабость, и это лишает меня мужества при столкновеньях с нею. А столкновенья эти очень часты, и в них я уступаю неизменно.

Но все же приходилось объявить Терезе о моем отъезде. Она вошла в библиотеку с охапкой дров, чтобы развести огонь, - “вздуть огонек”, как говорит она, - ибо по утрам свежо. Я искоса рассматривал ее, пока она сидела па корточках, скрыв голову под колпаком камина. Не знаю, откуда появилась во мне храбрость, но я не колебался. Я встал и, прохаживаясь по комнате, произнес небрежно, с особою лихостью, присущей трусам:

- Да-а! Кстати… кстати, Тереза… я уезжаю в Сицилию…

Сказав, я выжидал в большой тревоге. Ответа не было. Голова Терезы и большой чепчик оставались по-прежнему в камине; я наблюдал за ней: ничто в ее особе не выдавало ни малейшего волненья. Она совала щепки под дрова, только и всего.

Наконец я снова увидел ее лицо: оно было спокойно, - так спокойно, что в душе я даже возмутился. “Истинно, нет сердца у этой старой девы, - подумал я. - Она предоставляет мне уехать, даже не воскликнув “ах!”. Неужели для нее отъезд ее старого хозяина такая малость?”

- Ступайте, - сказала наконец она, - но возвращайтесь к шести. У нас к обеду кушанье, которое не может долго ждать.

Неаполь , 10 ноября 1869 года .

- Co tra calle vive, magne e lave a faccia.

- Понимаю, мой друг: “За три сантима напьешься, наешься и умоешься”,

и все это можно совершить любым арбузным ломтем с твоего лотка. Но западные предрассудки, пожалуй, не позволят мне вкушать с должной невинностью это простое чувственное удовольствие. Да и как я буду сосать арбуз? В этой толпе мне уж и так стоит немало труда держаться на ногах. Какая шумная и сияющая ночь в Санта-Лючии! В лавчонках, освещенных многоцветными фонариками, вздымаются горы фруктов. Прямо на открытом воздухе топятся плиты, в котлах кипит вода, на сковородках шипит сало. Запах жареной рыбы и горячего мяса щекочет мне ноздри, и поневоле я чихаю. Тут замечаю, что из кармана сюртука исчез мой носовой платок. Меня толкает, несет и вертит во все стороны народ, самый веселый, самый болтливый, самый живой и самый юркий, какой можно себе представить; вот молодая кумушка, - как раз в то время, когда я любовался ее великолепными черными волосами, она толчком упругого и мощного плеча отбросила меня на три шага назад, но невредимым, и прямо в объятия любителя макарон, подхватившего меня с улыбкой.

Я в Неаполе. Как я сюда добрался с бесформенными и изуродованными остатками багажа, сказать я не могу по той причине, что и сам того не знаю. Я путешествовал все это время в каком-то испуге, и охотно верю, что в этом светлом городе у меня еще недавно был вид филина на солнце. Но нынче вечером дело обстоит гораздо хуже! Собираясь наблюдать народные нравы, я пошел на Strada di porto*, где и нахожусь сейчас. Вокруг меня жизнерадостные люди теснятся кучками перед съестными лавками, и я колышусь, как обломок кораблекрушения, по воле этих живых воли, ласкающих даже тогда, когда они вас заливают. Ибо в живости неаполитанского народа есть что-то мягкое и ублажающее. Меня не толкают, меня укачивают; и эти люди, качая меня и так и сяк, достигнут, думается мне, того, что я засну в стоячем положении. Попирая плиты из лавы на Strada, я любуюсь грузчиками и рыбаками, которые ходят, говорят, поют, курят, жестикулируют с поразительной быстротой, бранятся и целуются. Они живут всеми чувствами одновременно и в безотчетной мудрости соразмеряют свои желанья с быстротечностью нашей жизни. Я подошел к бойко торгующему кабачку и над его дверью прочел следующее четверостишие на неаполитанском наречии:

---

* Портовая набережная (итал.).

Amice, alliegre magnammo e bevimmo

Nfin che n’ce stace noglio a la lucerna:

Chi sa s’a l’autro munno n’ce vedimmo?

Chi sa s’a l’autro munno n’ce taverna?

Ешь, пей, мой друг, и позабудь печали,

Покуда в лампе масло остается:

Мы на том свете свидимся едва ли,

Да и едва ль таверна там найдется.

Подобные советы давал своим друзьям и Гораций*. Ты их воспринял, Постум; и ты вняла им, Левконоя, прекрасная мятежница, хотевшая проникнуть в тайны будущего. Теперь это будущее стало прошлым и нам известно. Воистину - ты мучила себя напрасно из-за такой малости, и друг твой оказался умным человеком, советуя тебе быть мудрой и цедить твои греческие вина: “Sapias, vina liques”**. Да и сама прекрасная страна и ясное небо располагают к спокойным вожделениям. Но бывают души, терзаемые возвышенной неудовлетворенностью: то наиболее благородные. Ты, Левконоя, была из их числа; и я, на склоне дней своих прибыв в тот город, где сняла твоя краса, почтительно приветствую твою меланхолическую тень. Души, подобные твоей, при христианстве стали святыми, и Златая легенда полна их чудесами. Твой друг Гораций оставил потомство менее благородное, и одного из его правнуков я вижу в этом кабатчике-поэте, который разливает вино в чаши под своей эпикурейской вывеской.

---

* Подобные советы давал своим друзьям и Гораций. - Гораций (Квинт Гораций Флакк; 65 г . до н. э. - 8 г . н. э.) в своих “Одах” призывал наслаждаться радостями быстротечной жизни, “ловить день”. В оде 14 (кн. II) поэт обращается с таким советом к другу, которого называет Постумом; в оде 11 (кн. I) - к женщине по имени Левконоя.

** Будь же мудра, вина цеди (лат.).

А все-таки жизнь доказывает правоту твоего друга Флакка, и философия его одна сообразуется с ходом вещей. Взгляните-ка на этого парня, - он прислонился к решетке, увитой виноградом, глядит на звезды и ест мороженое. Он не нагнулся бы поднять ту старую рукопись, которую я ищу с такими трудностями. Воистину человек, скорее, создан, чтобы есть мороженое, нежели копаться в древних текстах.

Я продолжал бродить среди пьющих и поющих. Встречались и влюбленные: обнявшись за талию, они ели красивые плоды. Очевидно, человек не добр от природы, ибо вся эта чужая радость вызывала во мне большую грусть. Толпа так простодушно и открыто вкушала жизнь, что свойственная мне, старому писаке, стыдливость приходила в трепет. К тому же я был в отчаянье, не понимая слов, звучавших вокруг меня. Для филолога это унизительное испытание. Итак, я находился в полном унынии, как вдруг слова, произнесенные за моей спиной, привлекли мое внимание.

- Димитрий, этот старик, наверное, француз. Мне его жаль, он такой растерянный. Поговорите с ним. У него добрая сутулая спина, не правда ли, Димитрий?

Какой-то женский голос произнес все это по-французски. Прежде всего мне было неприятно слышать, что я старик. Разве в шестьдесят два года бывают стариками? Не так давно на мосту Искусств коллега мой Перро д’Авриньяк сделал мне комплимент по поводу моей моложавости, а в возрастах он понимает, вероятно, лучше, чем эта молоденькая пеночка,

поющая о моей спине, если только пеночки поют и по ночам. У меня сутулая спина, она сказала! Да! Да! Кое-что об этом я подозревал, но больше этому не верю, раз это мнение какой-то там пичужки. Я, разумеется, не поверну и головы, чтобы взглянуть на говорившую, хотя уверен, что эта женщина красива. Почему?

Да потому, что только голос женщин, которые красивы или были красивыми, нравятся или нравились, может иметь столько приятных модуляций и серебристое звучанье, где слышится и смех. Из уст дурнушки польется речь, быть может, мелодичнее и слаще, но, конечно, не столь звучная и без такого милого журчанья.

Эти мысли возникли у меня меньше, чем в секунду, и тотчас же, убегая от этих незнакомцев, я бросился в самую гущу неаполитанской толпы, а из нее шмыгнул в извилистый vicoletto*, освещенный лишь лампадкой перед Мадонною в нише. Тут, лучше поразмыслив на досуге, я осознал, что та красивая дама (она, наверное, была красива) высказала обо мне благожелательное мнение, и оно заслуживало моей признательности.

---

* Переулочек (итал.).

”Димитрий, этот старик, наверное, француз. Мне его жаль, он такой растерянный. Поговорите с ним! У него добрая сутулая спина, не правда ли, Димитрий?”

От этих милых слов не подобало мне пускаться в бегство. Скорее, надлежало учтиво подойти к звонкоречивой даме, склониться перед ней и молвить так: “Сударыня, помимо своей воли, я слышал сказанное вами. Вы желали оказать услугу бедному старику. Она уже оказана: само звучание французской речи мне доставляет наслажденье, за что и приношу вам благодарность”. Конечно, мне следовало обратиться к ней с такими или подобными словами. Несомненно она француженка, потому что самый

звук голоса у ней французский. Голос французских женщин самый приятный в мире. Он пленяет иностранцев не менее, чем нас. В 1483 году Филипп Бергамский* сказал об Орлеанской деве: “Речь ее была нежна, как речь ее землячек”. Спутника ее зовут Димитрием; он несомненно русский. Это богатые люди, влачащие по свету свою скуку. Богатых приходится жалеть: блага жизни их только окружают, но не затрагивают их глубоко, - внутри себя они бедны и наги. Нищета богатых достойна жалости.

---

* Филипп Бергамский (1434 - 1520) - итальянский летописец; ему принадлежат жизнеописания знаменитых женщин, в том числе Жанны д’Арк (Орлеанской девы).

К концу этих размышлений я очутился в проходе, или, выражаясь по-неаполитански, в sotto portico, шедшем под таким множеством арок и далеко выступающих балконов, что никакой свет с неба туда не проникал. Я заблудился и, по-видимому, был обречен всю ночь разыскивать дорогу. Чтобы спросить о ней, надо было встретить хоть одну живую душу, а я отчаялся кого-либо увидеть. С отчаянья свернул я наудачу в улицу или, вернее говоря, в ужасающую трущобу. Такой она была на вид, такой и оказалась, ибо, войдя туда, я через несколько минут увидел двух мужчин, пустивших в ход ножи. Нападение они вели больше языком, нежели клинком, и по их ругани между собой я понял, что это соперники в любви. Пока эти милые люди занимались своим делом, меньше всего в мире помышляя обо мне, я благоразумно свернул в соседнюю уличку. Некоторое время брел я наобум и, наконец, в унынии уселся на какую-то каменную скамейку, досадуя на себя за то, что столь нелепо по таким закоулкам бежал я от Димитрия и его звонкоречивой спутницы.

- Здравствуйте, синьор. Вы из Сан-Карло? Слышали диву? Так поют только в Неаполе.

Я поднял голову и узнал своего хозяина. А сидел я у фасада гостиницы,

под собственным окном.

Монте-Аллегро, 30 ноября 1869 года.

Я, мои проводники и мулы отдыхали по дороге из Шьякки на Джирдженти в трактире бедной деревеньки Монте-Аллегро, жители которой, изнуренные малярией, дрожали на солнце от озноба. Но это всё еще греки, и жизнерадостность их противостоит всему. Некоторые из них с веселым любопытством толпились около трактира. Какой-нибудь рассказ, сумей я передать его, отвлек бы их от бедствий жизни. Вид у них смышленый, а женщины, увядшие и загорелые, изящно носят длинный черный плащ.

Вдали перед собой я вижу изъеденные морским ветром развалины, где не растет даже трава. Сумрачная грусть пустыни царит на этой чахлой земле, с трудом питающей своей растрескавшейся грудью несколько кактусов, ободранных мимоз и карликовых пальм. В двадцати шагах от меня но рытвине белеют камни, точно дорожка из рассыпанных костей. Проводник мне объяснил, что это был ручей.

Уже две недели, как я в Сицилии*. Приплыв в Палермскую бухту, которая открылась с моря между двумя голыми могучими массивами - Пеллегрино и Катальфано, а дальше выгнулась вдоль “Золотой раковины”, поросшей миртами и апельсинными деревьями, я так был восхищен всем этим видом, что решил побывать на острове, столь благородном по своим преданиям и столь красивом очертаньями своих холмов. Я, старый, поседелый на варварском Западе пилигрим, отважился ступить на эту классическую землю и, подрядив себе проводника, выехал из Палермо в Трапани, из Трапани в Селинонте, из Селинонте в Шьякку, которую покинул сегодня утром, направляясь в Джирдженти, где должен найти рукопись Жана Тумуйе. Красоты, виденные мною, настолько свежи в моей памяти, что старанье описать их считаю напрасным трудом. К чему мне портить путешествие нагромождением заметок? Любовники, любящие истинной любовью, не описывают своего счастья.

---

* …две недели, как я в Сицилии. - А. Франс не бывал в Сицилии; для ее описания он воспользовался статьями историка и философа Эрнеста Ренана “Двадцать дней в Сицилии”, напечатанными в журнале “Ревю де де Монд” в 1875 г .

Отдаваясь грусти настоящего и поэзии былого, под обаяньем прекрасных образов в душе и гармоничных, чистых линий перед глазами, я пил в трактире Монте-Аллегро густую влагу крепкого вина, как вдруг увидел, что в залу входит молодая красивая женщина в соломенной шляпке и в платье из небеленого фуляра. У нее темные волосы и черные блестящие глаза. По походке я признал в ней парижанку. Она села. Хозяин поставил перед ней стакан холодной воды и положил букет из роз. Когда она вошла, я встал, из скромности немного отдалился от стола и сделал вид, что разглядываю благочестивые картинки на стенах. В это время я хорошо заметил, как она, посмотрев на мою спину, выразила легким жестом изумление. Я подошел к окну и стал глядеть на расписные одноколки, проезжавшие по каменистой дороге, окаймленной кактусами и берберийскими смоковницами.

Пока она пила ледяную воду, я смотрел на небо. В Сицилии испытываешь неизъяснимое наслаждение, когда пьешь холодную воду и вдыхаешь дневной свет. Я тихо прошептал стихи афинского поэта*:

---

* …стихи афинского поэта… - Цитируются строки из пролога к трагедии “Антигона” Софокла (v в. до н. э.).

О свет божественный,

Златого дня сияющее око.

Между тем дама-француженка разглядывала меня с особым любопытством, и я, хотя не позволял себе смотреть на нее более, чем допускало приличие, все же чувствовал на себе ее глаза. По-видимому, у меня есть дар угадывать направленные на меня взоры, даже когда они и не встречаются с моими. Многие считают себя обладателями этой таинственной способности; на самом деле тут нет ничего таинственного, а нам об этом говорит какой-нибудь признак, почти ускользающий от нас, - настолько он неуловим. Вполне возможно, что отраженье глаз красивой дамы я видел на оконных стеклах.

Когда я повернулся к ней, взгляды наши встретились.

Черная курица пришла поклевать в плохо подметенной комнате.

- Ты хочешь хлеба, колдунья, - сказала молодая дама, бросая ей крошки со стола.

Я узнал голос, который слышал ночью в Санта-Лючии.

- Простите, сударыня, - сказал я тотчас же. - Хотя мы с вами незнакомы, но я обязан выполнить свой долг, поблагодарив вас за вашу заботливость о старике-соотечественнике, блуждавшем в поздний час по улицам Неаполя.

- Вы узнаете меня, - ответила она. - Я вас узнала тоже.

- По спине?

- А! Вы слышали, как я сказала мужу, что у вас добрая спина. В этом нет ничего обидного. Мне будет очень жаль, если я огорчила вас.

- Наоборот, сударыня, вы мне польстили. И ваше наблюдение, по крайней мере в своей основе, мне кажется и справедливым и глубоким. Выражение бывает разное не только в чертах лица. Есть руки умные и руки, лишенные воображения. Есть лицемерные колени, эгоистические

локти, плечи наглые и спины добрые.

- Верно, - сказала она. - Но я узнала вас и по лицу. Мы уже встречались, не знаю только где - в Италии или в других местах. Мы с князем много путешествуем.

- Не думаю, чтобы я имел счастливый случай встретить вас. Я старый отшельник. Всю жизнь провел за книгами и мало путешествовал. Вы это видели по моей растерянности, возбудившей ваше сочувствие. Я сожалею, что вел сидячую и замкнутую жизнь. Несомненно, кое-чему учишься из книг, но, странствуя, научаешься гораздо большему.

- Вы парижанин?

- Да, сударыня. Вот уже сорок лет, как я живу почти безвыездно в одном и том же доме. Правда, этот дом стоит на берегу Сены, на месте, самом знаменитом и самом красивом в мире. Из моего окна видны Тюильри и Лувр, башни собора Богоматери и Новый мост, башенки Дворца правосудия и стрелка Сент-Шапель. Все эти камни говорят: они рассказывают мне чудесную историю Франции.

Эти сведения, видимо, приятно удивили молодую женщину.

- Вы живете на набережной? - оживленно спросила она.

- На набережной Малакэ, в четвертом этаже, в доме торговца гравюрами. Меня зовут Сильвестр Бонар. Имя мало кому известное, но оно принадлежит члену Академии, и с меня довольно, что мои друзья его не забывают.

Она взглянула на меня с особым выраженьем изумления, симпатии, умиленности и грусти, но я не понимал, чем мог такой простой рассказ вызвать столь разные и столь живые чувства.

Я ждал, не объяснит ли мне она причину этого, но в залу вошел колосс, печальный, кроткий, молчаливый.

- Мой муж, князь Трепов, - представила она его. И, указав ему на меня, сказала: - Господин Сильвестр Бонар, член Французской академии.

Князь поклонился, чуть поведя плечами. Плечи у него были высокие, широкие и мрачные.

- Друг мой, я огорчен, что прерываю ваш разговор с академиком Бонаром, - сказал он, - но повозка готова, и нам необходимо поспеть в Мелло засветло.

Она встала, взяла розы, поднесенные хозяином, и вышла из трактира. Я последовал за нею, князь в это время присматривал за упряжкой мулов и пробовал, надежны ли подпруги и ремни. Остановившись под навесом из виноградных лоз, она сказала мне с улыбкой:

- Мы едем в Мелло; это отвратительная деревушка в шести милях от Джирдженти, и вам никогда не догадаться, зачем мы туда едем. Не пытайтесь. Мы едем за спичечным коробком. Димитрий собирает спичечные коробки. Он перепробовал все виды коллекций: собачьи ошейники, форменные пуговицы, почтовые марки. Но теперь его интересуют только спичечные коробки - картонные коробочки с хромолитографиями. Мы уже собрали пять тысяч двести четырнадцать различных образцов. Найти некоторые из них нам стоило огромного труда. Так, например, мы знали, что в Неаполе выделывались коробки с портретами Гарибальди и Мадзини*, но эти коробки полиция изъяла, а фабриканта посадили в тюрьму. Благодаря усиленным расспросам и розыскам мы нашли такую коробочку у одного крестьянина, который продал нам ее за сто лир и донес на нас полиции. Сбиры** осмотрели наш багаж. Коробочки они там не нашли, но драгоценности мои забрали. С той поры и у меня явился интерес к этой коллекции. Чтобы ее пополнить, мы летом едем в Швецию.

---

* …коробки с портретами Гарибальди и Мадзини… - Джузеппе Мадзини (1805 - 1872) и Джузеппе Гарибальди (1807 - 1882) - герои национально-освободительного и демократического движения в Италии. В 1860 г . Гарибальди во главе “тысячи” (добровольцев) занял Сицилию, а затем высадился в Неаполе и освободил его от власти Бурбонов. Мадзини в 1870

г . организовал республиканское восстание в Сицилии.

** Сбиры (итал.) - презрительная кличка полицейских.

Я испытывал (следует ли говорить об этом?) какую-то сочувственную жалость к этим упорным коллекционерам. Я бы, конечно, предпочел, чтобы супруги Треповы собирали в Сицилии античные мраморы, расписные сосуды или же медали. Мне бы хотелось, чтобы у них был интерес к развалинам Агригента и поэтическим преданиям Эрикса*. Но в конце концов они составляли коллекцию, они были моими собратьями, и мог ли я подсмеиваться над ними, не осмеивая слегка и самого себя?

---

* Эрикс - древнее название горы в Сицилии (ныне Монте Сан-Джульяно) и города, расположенного у ее подножия.

- Теперь вы знаете, - добавила она, - зачем мы путешествуем по этой ужасной стране.

От такого эпитета моя симпатия угасла, я даже почувствовал негодованье.

- Эта страна не ужасна, сударыня, - ответил я. - Эта земля - земля славы. Красота нечто столь благородное, столь величественное, что векам варварства не удается истребить ее совсем - чтоб не осталось от нее следов, достойных преклонения. Величие античной Цереры еще реет над этими бесплодными холмами*, и греческая Муза, огласившая своим божественным стихом Менал** и Аретузу, еще поет мне здесь - на оголенной горе и в этом высохшем ручье. Да, сударыня, в последние времена земли, когда наш шар, необитаемый, подобно теперешней Луне, покатится в пространстве бледным трупом, Земля, несущая развалины

Селинунта***, сохранит, среди всеобщей смерти, остатки красоты, и тогда по крайности, тогда не будет празднословных уст, хулящих это одинокое величие.

---

* Величие античной Цереры еще реет над этими бесплодными холмами… - В античные времена остров Сицилия был отнюдь но бесплодным, а, напротив, славился своими тучными землями; в Сицилии был распространен культ богини земного плодородия Цереры (у греков - Деметры).

** Менал - гора в Сицилии.

*** Селинунт - город и мыс в Сицилии.

Едва успев произнести эти слова, я почувствовал их глупость. “Бонар, - сказал себе я, - ты старый человек, изживший жизнь над книгами, ты не умеешь разговаривать с женщинами”. По счастью для меня, все это рассуждение было понятно княгине Треповой не более, чем греческий язык.

Она мне ласково ответила:

- Димитрию скучно, и мне скучно. У нас есть спичечные коробки! Но и спичечные коробки надоедают. Когда-то у меня бывали горести, и тогда я не скучала; горести - это большое отвлечение.

Смягчившись перед духовной нищетой этой красивой женщины, я сказал:

- Мне жаль, что у вас нет ребенка, сударыня. Будь он у вас, была бы у вас цель жизни, ваши мысли стали бы серьезней и в то же время утешительней.

- У меня есть сын, - ответила она. - Мой Жорж большой, почти мужчина: ему уж восемь лет! Я люблю его не меньше, чем когда он был еще малюткой, но это все уже не то.

Она дала мне розу из своего букета, улыбнулась и сказала, садясь в повозку:

- Вы не можете себе представить, господин Бонар, как я рада, что встретилась с вами. Надеюсь, мы увидимся в Джирдженти*.

---

* Джирдженти (итальянизированная форма названия Агригент) - город на южном берегу Сицилии, выросший на месте древнего города Агригента.

Джирдженти, в тот же день.

Я устроился, как мог, в моей lettica. Lettica - повозка без колес, или, если угодно, носилки, стул, который несут два мула, один впереди, другой сзади. Способ старинный. Изображение таких носилок мне попадалось в рукописях XIV века. Тогда мне в голову не приходило, что когда-нибудь подобные носилки понесут меня из Монте-Аллегро в Джирдженти. Нельзя ручаться ни за что.

В течение трех часов мулы позванивали колокольчиками и постукивали копытами об известковую землю. Тем временем, пока в просветах живых изгородей из алоэ по обе стороны дороги медлительно тянулись пустынные виды, напоминавшие Африку, я мечтал о рукописи клирика Жана Тумуйе и жаждал ее с простодушной горячностью, умилявшей меня самого, - так много детской невинности и трогательного ребячества я находил в этом желании.

Запах розы, сильнее ощутимый к вечеру, напомнил мне о княгине Треповой. На небе засияла Венера. Я мечтал. Княгиня Трепова - женщина красивая, крайне простая и очень близкая к природе. У ней кошачьи понятия. Я не заметил в ней и признака какой-нибудь благородной любознательности, которая так волнует мыслящие души. И тем не менее она по-своему выразила глубокую мысль: “Когда есть горести, то не скучаешь”. Значит, ей известно, что в этом мире самым надежным развлеченьем являются для нас тревоги и страдание. Великих истин не открывают без горя и труда. Через какие ж испытания дошла княгиня Трепова до этой истины?

Джирдженти, 1 декабря 1869 года.

Наутро я проснулся в Джирдженти, у Гелианта. Гелиант был некогда богатым гражданином в древнем Агригенте. Он славился щедростью, как и роскошью, и наделил родной город большим количеством даровых гостиниц. Гелиант умер тысяча триста лет тому назад, а теперь среди цивилизованных народов не существует дарового странноприимства. Но имя Гелианта стало названием гостиницы, где удалось мне благодаря усталости проспать всю ночь.

Современный Джирдженти построил над Акрополем античного Агригента небольшие и тесно сдвинутые домики, а среди них высится мрачный испанский собор. Из окна мне виден на половине склона к морю белый ряд полуразрушенных храмов. Лишь в этих развалинах есть некоторая жизненность. Все остальное - пустынно. Вода и жизнь покинули Агригент. Вода, божественная Нестис агригентца Эмпедокла*, так необходима живому существу, что вдали от рек и родников нет жизни. Но порт Джирдженти, находящийся от города в трех километрах, ведет большую торговлю. “Итак, - думал я, - в этом-то угрюмом городе, на этой крутой скале находится рукопись клирика Жана Тумуйе”. Я попросил указать мне дом синьора Микеланджело Полицци и направился туда.

---

* …божественная Нестис агригентца Эмпедокла… - Древнегреческий поэт и философ Эмпедокл (v в. до н. э.) был уроженцем Агригента. Эмпедокл считал, что в основе мира лежат четыре стихии, которые олицетворялись для него в образах богов: эфир (Зевс), земля (Гера), огонь (Андоней) и вода (Нестис).

Синьора Полицци я застал в то время, когда он, с головы до ног одетый во все желтое, варил в сотейнике сосиски. Увидав меня, он выпустил ручку сотейника, поднял руки вверх и вскрикнул от восторга. Угреватое лицо, нос горбом, выдающийся подбородок и круглые глаза придавали этому маленькому человечку необычайно выразительный облик.

Он назвал меня превосходительством, сказал, что этот день отметит белым камешком, и усадил меня па стул. Комната, где мы находились, служила одновременно кухней, гостиной, спальней, мастерской и кладовой. Тут были горны, кровать, холсты, мольберт, бутылки и красный перец. Я взглянул на картины, развешанные по стенам.

- Искусство! Искусство! - воскликнул синьор Полицци, снова воздевая руки к небу. - Искусство! Какое величие! Какое утешение! Я живописец, ваше превосходительство!

И показал мне незаконченного святого Франциска, который мог бы таким же и остаться без всякого ущерба для искусства и религии. Затем пришлось мне осмотреть несколько старинных картин получше, но реставрированных, как мне казалось, довольно грубо.

- Я восстанавливаю старинные картины, - сказал он мне. - О! Старые мастера! Какая душа! Какой гений!

- Значит, это верно: вы одновременно и антиквар, и живописец и торговец винами? - спросил я.

- И весь к услугам вашего превосходительства. Сейчас у меня есть такое zucco*, что каждая его капля - пламенная жемчужина. Я хочу угостить им вашу милость.

---

* Дзукко, сорт вина (итал.).

- Я ценю сицилийские вина, но посетил вас, синьор Полицци, не ради бутылок.

Он : Значит, ради картин. Вы любитель. Для меня огромная радость принимать любителей живописи. Сейчас я покажу вам шедевр Монреалезе; да, ваше превосходительство, его шедевр: “Поклонение пастухов”! Жемчужина сицилийской школы!

Я : С удовольствием посмотрю на это произведение, но сначала поговорим о том, что привело меня сюда.

Его бегающие глазки с любопытством остановились на мне, и я, не без щемящей тоски в сердце, заметил, что о цели моего прихода он даже и не подозревает.

Сильно волнуясь и чувствуя, как лоб мой покрывается холодным потом, я жалко промямлил нечто в таком роде:

- Я нарочно приехал из Парижа, чтобы ознакомиться с рукописью Златой легенды , принадлежащей, как вы писали, вам.

При этих словах он поднял руки вверх, непомерно раскрыл рот и глаза и выказал признаки сильнейшего волнения.

- О! Рукопись Златой легенды ! Жемчужина, ваше превосходительство, рубин, алмаз! Две миниатюры такого совершенства, что открывают перед вами рай. Какая нежность! А краски, похищенные с венчика цветов, ведь это мед для глаз! Сам Джулио Кловио* не создавал лучшего!

---

* Джулио Кловио (1498 - 1578) - итальянский художник-миниатюрист, который иллюстрировал книги религиозного содержания.

- Покажите мне ее, - сказал я, не имея силы таить свою тревогу и надежду.

- Показать! - воскликнул Полицци. - Как же я покажу ее, ваше превосходительство? Ее у меня уже нет. Уже нет!

Казалось, он готов был рвать на себе волосы. Если бы он выдергал их все, я бы не помешал. Но он остановился сам, не причинив себе ни малейшего вреда.

- Как? - сказал я в гневе. - Как? Вы заставили меня приехать в Джирдженти из Парижа, чтобы показать мне рукопись, а когда я приезжаю, вы говорите, что ее у вас нет. Это возмутительно! Предоставляю всем честным людям судить о вашем поведении.

Кто бы увидал меня тогда, имел бы довольно точное представленье о взбесившемся баране.

- Это возмутительно! Возмутительно! - повторял я, протягивая вперед дрожащие руки.

Микеланджело Полицци опустился на стул, приняв позу умирающего героя. Я видел, как глаза его наполнились слезами, а волосы, до той поры стремившиеся ввысь, беспорядочно поникли на лоб.

- Я отец, ваше превосходительство, отец! - воскликнул он, сжимая руки.

И сквозь рыдания добавил:

- Рафаэлло - мой сын, сын моей жены, смерть которой я оплакиваю пятнадцать лет, - Рафаэлло, ваше превосходительство, хотел устроиться в Париже; он снял там лавку на улице Лафит, чтобы торговать старинными вещами. Я отдал ему все ценное, что было у меня, - я отдал лучшие свои майолики, лучшие урбинские фаянсы, картины мастеров - и какие картины, синьор! Я ими ослеплен даже теперь, когда вижу их только в воображенье! Все подписные! Напоследок я дал ему рукопись Златой легенды . Я отдал бы ему и плоть и кровь свою. Единственный сын! Сын моей святой жены!

- Итак, когда я ехал в глубь Сицилии за рукописью Жана Тумуйе, полагаясь на ваше слово, эта рукопись лежала в витрине на улице Лафит, в полутора километрах от моего дома!

- Она была там, святая истина! - ответил мне Полицци, вдруг просветлев. - И там находится еще и сейчас, ваше превосходительство, по крайней мере я так думаю.

Он взял со стола карточку и, подавая мне, сказал:

- Вот адрес моего сына. Ознакомьте с ним ваших друзей, и вы премного обяжете меня. Фаянс, эмали, картины, ткани - полный выбор художественно-бытовых вещей, вся roba и, клянусь честью, все - старинное. Зайдите к нему: он вам покажет рукопись Златой легенды . Две миниатюры чудесной сохранности!

По малодушию я взял протянутую мне карточку.

Этот человек злоупотребил моей слабостью, вторично предложив мне ознакомить общество с именем Рафаэлло Полицци.

Я уже коснулся дверной ручки, как мой сицилианец схватил меня за локоть. Вид у него был вдохновенный.

- Ах, ваше превосходительство! - сказал он. - Наш город - что это за город! Он породил Эмпедокла. Эмпедокл! Какой великий человек, какой великий гражданин! Какая смелость мысли, какая доблесть! Какая душа! Там, над портом, есть статуя Эмпедокла, перед которой я снимаю шляпу всякий раз как прохожу. Когда же сын мой Рафаэлло уезжал в Париж, чтобы открыть антикварный магазин на улице Лафит, я проводил его до порта и у подножия статуи Эмпедокла дал ему отцовское благословение.

“Помни Эмпедокла!” - сказал я. Ах, синьор, как нужен теперь нашему злосчастному отечеству новый Эмпедокл! Хотите, ваше превосходительство, я провожу вас к статуе? Я буду вашим гидом при осмотре развалин. Я покажу вам храм Кастора и Поллукса, храм Олимпийского Юпитера, храм Юноны Лукинийской, античный колодец, могилу Феронта и Золотые ворота. Все гиды путешественников - ослы. Я хороший гид; не желаете ли вместе со мной заняться раскопками? И мы откроем сокровища. У меня есть уменье, настоящий дар раскапывать! Я открываю шедевры в отвалах рудников - там, где ученые не находили ничего.

Наконец мне удалось освободиться от него. Он побежал за мной по лестнице, остановил внизу и шепнул:

- Ваше превосходительство, послушайте: я сведу вас в город, я покажу вам наших джирджентинок! Сицилианки, синьор, - это античная красота! Хотите, я предоставлю вам крестьяночек?

- Подите вы к черту! - крикнул я в негодовании.

Я выбежал на улицу, он же остался у порога и развел руками.

Когда я был уже вне поля его зрения, я в изнеможении сел на камень и, охватив руками голову, стал размышлять.

”Для того ли, - думал я, - для того ли приехал я в Сицилию, чтобы выслушивать такие предложения?”

Полицци, разумеется, мошенник, сын его - такой же. Но что они замыслили? Я этого не мог распутать. Пока же чувствовал себя униженным и сокрушенным.

Услышав легкий шаг и шелест платья, я поднял глаза и увидел княгиню Трепову, идущую ко мне. Она мне не дала подняться с камня и, взяв мою руку, ласково сказала:

- Я вас искала, господин Бонар. Какая радость, что я вас встретила. Мне хочется, чтобы у вас осталось приятное воспоминание о нашей встрече. Правда, мне так бы этого хотелось!

Когда она произнесла это, мне померещилось, что под ее вуалью мелькнула улыбка и слеза.

Князь тоже подошел, накрыв нас своей огромной тенью.

- Покажите, Димитрий, покажите господину Бонару вашу драгоценную добычу.

И покорный гигант протянул мне коробок от спичек, безобразный картонный коробок, украшенный сине-красной головой - судя по надписи, головою Эмпедокла.

- Вижу, сударыня, вижу. Но мерзостный Полицци - не советую вам посылать к нему господина Трепова - навек меня поссорил с Эмпедоклом, а портрет не того сорта, чтобы этот Древний философ стал мне любезней.

- Коробок некрасивый, - промолвила она, - но редкий. Таких не найти. Приходится их покупать на месте. В семь часов утра Димитрий был уже на фабрике. Как видите, мы не теряли даром времени.

- Конечно, вижу, - ответил я с досадой, - зато я потерял время и не нашел того, за чем приехал в такую даль.

Видимо, она заинтересовалась моей неудачей.

- У вас какая-нибудь неприятность? - спросила она с участием. - Не могу ли я помочь вам? Быть может, вы поделитесь со мною вашим горем?

Я стал рассказывать. Мое повествование было длинно, но, видимо, тронуло ее, ибо вслед за ним она мне задала ряд мелких вопросов, воспринятых мной как доказательство ее большого интереса. Ей захотелось знать точное заглавие рукописи, внешний вид ее, формат и век; она спросила адрес Рафаэлло Полицци.

Я дал его, исполнив этим (о судьба!) то самое, о чем просил меня мерзкий Микеланджело Полицци.

Иной раз трудно бывает остановиться. Я начал снова жаловаться и проклинать судьбу. На этот раз княгиня Трепова только засмеялась.

- Почему вы смеетесь? - спросил я.

- Потому что я злая женщина.

И, вспорхнув, оставила меня на камне, смятенного и одинокого.

Париж, 8 декабря 1869 года.

Мои нераспакованные чемоданы еще загромождали всю столовую. Я сидел за столом, уставленным теми вкусными вещами, какие производит французская страна для любителей покушать. Я ел шартрский паштет, - а одного его достаточно, Чтобы любить отечество. Тереза, став против меня и сложив руки на белом фартуке, глядела на меня с благоволеньем, тревогой и жалостью. Гамилькар терся о мои ноги, от радости пуская слюни.

Мне пришел на память стих старого поэта:

Блажен, кто, как Улисс, прекрасный путь окончил*.

---

* Блажен, кто, как Улисс… - начальная строка сонета Жоашена Дю Белле (1522 - 1560), одного из поэтов Плеяды; прожив долгое время в Италии, Дю Белле выразил в этом стихотворении тоску по родной французской земле.

”Ну что ж, - мне думалось, - я прогулялся зря и возвращаюсь с пустыми руками; но так же, как Улисс, я совершил прекрасный путь”.

Выпив последний глоток кофе, я попросил у Терезы мою палку и шляпу, которые она дала мне недоверчиво: она боялась, что я опять уеду. Я успокоил ее, распорядившись, чтобы обед был приготовлен к шести часам.

Идти куда глаза глядят по улицам Парижа, где я благоговейно люблю все мостовые и каждый камень, - одно уж это большое удовольствие. Но у меня имелась цель, и шел я прямиком на улицу Лафит. Я не замедлил найти там лавку Рафаэлло Полицци. Она выделялась множеством старинных картин, подписанных художниками неравного значения, но, несмотря на это, имевших нечто родственное между собою, что наводило бы на мысль о трогательном братстве дарований, когда бы не свидетельствовало о проделках кисти Полицци-старшего. Лавку, полную этих сомнительных шедевров, оживляли мелкие предметы старины: кинжалы, кубки, кувшины, медное художественное литье, испано-арабские блюда с металлическим отсветом и терракотовые вазы.

На португальском кресле из тисненной гербами кожи лежал экземпляр часослова Симона Вотра*, открытый на листе с астрологическим рисунком; старик Витрувий раскрыл на сундуке свои мастерские гравюры кариатид и теламонов**. Весь этот кажущийся беспорядок, таивший нарочитое распределенье, этот мнимый случай, разбросавший вещи, чтобы подать их в благоприятном свете, могли бы увеличить недоверие мое, но сама фамилия - Полицци - внушала мне такое недоверие, что, будучи безграничным, оно не могло уже расти.

---

* …экземпляр часослова Симона Вотра… - Симон Вотра - французский книгоиздатель, издавал молитвенники с многочисленными гравюрами.

** …Витрувий раскрыл… свои мастерские гравюры кариатид и теламонов. - Во французском издании трактата “Об архитектуре” римского зодчего Витрувия (I в. до н. э.), выпущенного в XVII в., была сделана попытка восстановить его подлинные чертежи и рисунки.

Синьор Рафаэлло, представлявший как бы единую душу всех этих противоречивых и несвязанных форм, показался мне флегматичным молодым человеком, чем-то вроде англичанина. Он ни в коей мере не выказывал тех исключительных способностей по части мимики и декламации, какие проявлял его отец.

Я объяснил, что привело меня к нему; он отпер шкаф, вынул оттуда рукопись и положил на стол, где я мог исследовать ее, как мне угодно.

Никогда в жизни я так не волновался, если не считать нескольких месяцев из моей юности, воспоминание о коих, живи я хоть сто лет, останется в душе моей до самого последнего мгновенья таким же свежим, как и в первый день.

Да! Это была рукопись, описанная библиотекарем сэра Томаса Ралея. Да, рукопись клирика Жана Тумуйе! Ее я видел, осязал! Сочинение самого Иакова Ворагинского было значительно сокращено, но это мало меня трогало. Неоценимые добавления монаха из Сен-Жермен-де-Пре были налицо. А это главное! Мне захотелось прочесть житие святого Дроктовея, - я не мог: я читал все строчки сразу, и в голове моей шумело, как на водяной мельнице в деревне ночью. Однако я установил, что написанье букв рукописи является неоспоримо подлинным. Два изображения - Сретенья господня и Венчанья Прозерпины - отличались грубостью рисунка и крикливостью тонов. Сильно попорченные в 1824 году, как то свидетельствует каталог сэра Томаса, они с тех пор вновь приобрели свежесть. Это чудо меня не поразило. Впрочем, какое мне было дело до двух миниатюр! Жития и поэма Жана Тумуйе - вот где сокровище. Из него я черпал взглядом все, что могли уловить мои глаза.

Приняв равнодушный вид, я спросил у синьора Рафаэлло о цене рукописи и в ожидании ответа молил небо, чтобы цена ее не превзошла моих сбережений, сильно пострадавших от дорого стоившего путешествия. Синьор Полицци ответил мне, что этой вещью он располагать не может, так как она больше не его, а назначена к продаже с аукциона в Доме торгов вместе с другими рукописями и несколькими инкунабулами*.

---

* Инкунабулы. - Так называются первопечатные книги, изданные до 1500 г .; по внешнему виду они еще походят на рукописные.

То был жестокий для меня удар. Я сделал усилие, чтобы прийти в себя, и смог ответить нечто вроде следующего:

- Вы удивляете меня. Ваш отец, которого я видел не так давно в Джирдженти, меня уверил, что вы являетесь владельцем этой рукописи. Не вам давать мне повод сомневаться в словах вашего отца.

- Действительно, я владел ею, - ответил совершенно просто Рафаэлло, - но я больше не владею. Эту драгоценную рукопись я продал одному любителю, не разрешившему мне называть его фамилию, а теперь, по причинам, тоже не допускающим огласки, он вынужден продать свое собрание. Почтив меня своим доверием, он поручил мне составить каталог и руководить продажей, имеющей быть двадцать четвертого декабря сего года. Если вы соблаговолите дать мне свой адрес, я буду иметь честь послать вам каталог, находящийся в печати, и описание Златой легенды вы найдете в нем под номером сорок вторым.

Я дал свой адрес и ушел.

Приличная степенность сына не нравилась мне так же, как и непристойное кривлянье отца. В глубине души я проклинал уловки этих низких торгашей. Мне было ясно, что два мошенника между собою сговорились и выдумали эту распродажу на аукционе через присяжного оценщика, чтобы взвинтить цену на рукопись, которую хотелось мне приобрести, но избежать при этом возможных нареканий. Я был у них в руках. Желанья, хотя бы и самые невинные, имеют ту плохую сторону, что подчиняют нас другому человеку и ставят нас в зависимость. Такая мысль была мучительна, однако она не отбила у меня охоты владеть твореньем клирика Тумуйе. Размышляя на эту тему, я собирался перейти через улицу, но остановился, чтобы пропустить карету, ехавшую мне навстречу, и сквозь стекло увидел княгиню Трепову, мчавшуюся на паре вороных, с кучером в мехах, похожим на боярина. Меня она не видела.

”Пусть она найдет то, что ищет, - подумал я, - или, вернее, что подойдет ей. Вот мое пожеланье в оплату за жестокий смех, каким она встретила мое злосчастие в Джирдженти. У нее душа синицы”.

И, грустный, я добрался до мостов.

Вечно равнодушная природа, не торопясь и не опаздывая, привела и день 24 декабря. Я отправился во дворец Бюльон и занял место в зале №4, у самого стола, где предстояло сидеть присяжному оценщику Булузу и эксперту Полицци. Зала постепенно наполнялась знакомыми мне лицами. Я пожал руки нескольким старым букинистам с набережных; но осторожность, какую внушает людям, даже наиболее доверчивым, всякая большая заинтересованность, понудила меня скрывать причину моего необычного присутствия во дворце Бюльон. Наоборот, я расспросил этих господ о том, что в данной распродаже, организованной Полицци, могло привлечь их интерес, и слушал с удовольствием, как разговор шел совершенно о других предметах, а не о моем.

Любители и просто любопытные мало-помалу наполнили всю залу; опоздав на полчаса, присяжный оценщик, вооруженный молотком слоновой кости, секретарь, эксперт с каталогом и аукционист, снабженный деревянной чашей на длинной палке, появились на эстраде и с мещанской торжественностью заняли свои места. Служители выстроились около стола. Когда присяжный аукционист возвестил начало распродажи, все притихли.

Сначала продали по низким ценам довольно заурядное собрание “Preces piae”* с миниатюрами. Само собой разумеется, миниатюры отличались полнейшей свежестью.

---

* “Благочестивые наставления”, сборник проповедей (лат.).

Низкие надбавки ободрили толпу мелких торговцев стариной, которые смешались с нами и стали чувствовать себя непринужденно. В свой черед старьевщики, ждавшие, когда для них откроют соседнюю залу, тоже подошли, и овернские шутки покрывали слова аукциониста.

Великолепный экземпляр “Иудейской войны”* вновь оживил внимание. Эту вещь оспаривали долго. “Пять тысяч франков, пять тысяч”, - объявил аукционист среди молчания изумленных старьевщиков. Семь-восемь осьмигласников вновь низвели нас до дешевых цен. Толстая простоволосая старьевщица в широкой кофте, прельстившись величиною книги и скромностью надбавок, завладела одним из осьмигласников за тридцать франков.

---

* “Иудейская война” - сочинение древнеиудейского историка Иосифа Флавия (i в. н. э.).

Наконец эксперт Полицци выложил на стол и номер сорок два: Златая легенда , французская рукопись, неизданная, две превосходные миниатюры, оценка - три тысячи франков.

- Три тысячи! Три тысячи! - взвизгнул аукционист.

- Три тысячи, - сухо повторил присяжный оценщик.

В висках у меня гудело, я сквозь туман заметил, что множество серьезных лиц повертывается к рукописи, когда служитель носил ее по зале в раскрытом виде.

- Три тысячи пятьдесят! - произнес я.

Я был испуган звуком собственного голоса и смущен, увидев, что взоры всех присутствующих обратились на меня.

- Три тысячи пятьдесят справа! - крикнул аукционист, подхватив мою надбавку.

- Три тысячи сто! - перебил Полицци.

Тут началась героическая схватка между мною и экспертом.

- Три тысячи пятьсот!

- Шестьсот!

- Семьсот!

- Четыре тысячи!

- Четыре тысячи пятьсот!

Затем чудовищным скачком Полицци сразу прыгнул на шесть тысяч.

Шесть тысяч франков - это было все, чем я располагал. Все, что я мог дать. Я рискнул на невозможное.

- Шесть тысяч сто! - крикнул я.

Увы, и невозможное оказывалось недостаточным.

- Шесть тысяч пятьсот, - спокойно откликнулся Полицци. Я потупил голову и открыл рот, не решаясь сказать ни да, ни нет аукционисту, кричавшему мне:

- Шесть тысяч пятьсот, за мной; не за вами, справа, а за мной! Без недоразумений! Шесть тысяч пятьсот!

- Ясно! - подхватил присяжный оценщик. - Шесть тысяч пятьсот. Точно и ясно. Кто больше?.. Нет покупателя выше шести тысяч пятисот?

Торжественная тишина царила в зале. Вдруг я почувствовал, как трескается у меня череп: то стукнул молоток присяжного аукциониста, одним сухим ударом по столу безвозвратно оставив номер сорок два за Полицци. И тотчас перо секретаря забегало по гербовой бумаге, протоколируя одной строкой это великое событие.

Я был убит, мне нужен был воздух и покой. Однако с места я не тронулся. Мало-помалу ко мне вернулась способность рассуждать. Надежда упорна. И она явилась. Я подумал, что новым обладателем Златой легенды мог оказаться великодушный и образованный библиофил, который допустит меня к рукописи и даже позволит опубликовать ее существенные части. Вот почему, когда окончились торги, я подошел к эксперту, сходившему с эстрады.

- Господин эксперт, - спросил я, - вы купили номер сорок второй по поручению или для себя лично?

- По поручению. Мне было приказано не упускать его ни за какую цену.

- Не можете ли вы мне сказать имя покупателя?

- Крайне огорчен, что не могу исполнить вашей просьбы. Но это строго мне воспрещено.

Я отошел в отчаянии.

30 декабря 1869 года.

- Тереза, неужели вы не слышите, что уже четверть часа, как к нам звонят?

Тереза не отвечает. Она судачит в каморке у привратницы. Ну конечно! Так-то вы поздравляете старого хозяина с днем ангела? Канун святого Сильвестра, а вы бросили меня? Увы! Если в этот день я и услышу голоса сердечных пожеланий, то прозвучат они из-под земли, ибо все, кто некогда меня любил, давно покоятся в могиле. Сам не знаю, что делаю я в этом мире. Опять звонят! Я неохотно расстаюсь с камином и, сутулясь, иду отворять дверь. Что же я вижу на площадке? То не заплаканный Амур, и я не старик Анакреон*, - то мальчуган лет восьми-девяти. Он один; он поднимает голову, чтобы меня увидеть. Щеки его краснеют, но вздернутый носик имеет плутоватый вид. На шляпе перья, на курточке широкий воротник из кружев. Хорошенький мальчишка! Обеими руками он держит

сверток, не меньше, чем он сам, и спрашивает, я ли господин Сильвестр Бонар. Отвечаю: “Да”. Он мне вручает сверток, говорит, что это посылает мама, и убегает вниз по лестнице.

---

* То не заплаканный Амур, и я не старик Анакреон… - намек на античную оду “Посещение Эрота”, которая во времена Франса приписывалась греческому поэту Анакреонту (VI в. до н. э.): ночью в дверь к поэту постучался промокший, заплаканный ребенок Эрот (бог любви Амур), поэт отогрел Эрота, но тот коварно ранил его стрелою в сердце.

Спускаюсь на несколько ступенек, перегибаюсь через перила и вижу, как вьется в спирали лестницы маленькая шляпа, словно перышко по ветру. Прощай, мальчуган! Я бы охотно с ним поговорил. О чем бы только я его спросил? Неделикатно расспрашивать детей. К тому же сверток разъяснит все лучше, чем посланец.

Сверток весьма большой, но не особенно тяжелый. У себя в библиотеке снимаю ленты и бумагу, в которую он запакован, и нахожу… Что это?.. Полено, отличное полено, настоящее рождественское полено, но легкое и, думается мне, пустое. В самом деле, я замечаю, что оно из двух кусков, соединенных крючками и открывающихся на шарнирах. Откидываю крючки… и меня засыпали фиалки. Они падают на мой стол, мне на колени, на ковер. Проскальзывают за жилет и в рукава. Я весь ими надушен.

- Тереза! Тереза! Подайте вазы, и с водой! Вот фиалки, присланные не знаю из какой страны и чьей рукой, но несомненно из страны благоуханной и рукой прелестной. Старая ворона, вы слышите меня?

Я разложил фиалки на письменном столе, и они покрыли его весь душистым цветником. Но что-то есть еще в полене… книга, рукопись. Это… не смею верить, но нет сомненья… Это Златая легенда , рукопись

клирика Жана Тумуйе. Вот Сретенье господне, а вот Венчанье Прозерпины, вот житие святого Дроктовея. Я созерцаю эту старину, благоухающую фиалками. Переворачиваю страницы, между которыми проникли бледные цветочки, и в том месте, где житие святой Цецилии, нахожу карточку, гласящую: Княгиня Трепова .

Княгиня Трепова! Ведь это вы так мило и прослезились и смеялись под ясным небом Агригента, ведь это вас угрюмый старец принял за маленькую сумасбродку! Я убежден сегодня в вашем прекрасном редкостном сумасбродстве! И старичок, обрадованный вами превыше меры, пойдет и поцелует ваши руки, возвращая такую драгоценность, а точным и роскошным изданием ее вам будут обязаны наука и он сам.

В эту минуту вошла ко мне Тереза; она была взволнована.

- Угадайте, сударь, кого я сию минуту видела в карете с гербами у нашего подъезда?

- Госпожу Трепову, кого же больше! - воскликнул я.

- Никакой госпожи Трепговой я не знаю, - отвечала экономка. - Та женщина, что я сейчас видала, одета словно герцогиня, а с ней мальчишка, весь в кружевах. И эта дамочка - Кокоз! Вы еще послали ей полено, когда она рожала, тому восемь лет. Я сразу ее признала.

- Так это, - спросил я, оживившись, - так это госпожа Кокоз, вы говорите? Вдова торговца альманахами?

- Она самая! Дверца кареты была открыта, когда мальчишка выбежал от нас и влезал в карету. Она почти не изменилась. Да этаким-то женщинам с чего и стариться? Заботы у них нет. Кокозиха стала только подороднее. Тогда ее пустили в дом из милости… И такой женщине приезжать сюда в карете, разрисованной гербами, величаться бархатом да брильянтами! Это ли не срам!

- Тереза! - крикнул я страшным голосом. - Говорите об этой даме не иначе как с уваженьем, а не то мы с вами поссоримся. Несите севрские вазы для фиалок, дарующих обители книг прелесть, какой здесь не бывало никогда.

Пока Тереза, вздыхая, доставала севрские вазы, я созерцал рассыпанные по столу фиалки, разлившие кругом меня свое благоухание - как будто аромат пленительной души, и я спросил себя, как мог я не узнать в княгине Треповой вдову Кокоз? Но слишком коротко было мое свиданье с молодой вдовой, когда она на лестнице показала мне голенького малыша. С большим основаньем я мог винить себя за то, что прошел мимо души пленительно красивой, ее не разгадав.

- Бонар, - сказал я про себя, - ты можешь разбираться в старинных текстах, но читать книгу жизни ты не умеешь. В княгине Треповой ты видел только птичью душу, а эта сумасбродка потратила из благодарности к тебе больше рвенья и ума, чем это ты делал ради услуги другому человеку. Она по-царски отплатила тебе за полено, посланное ей на родИны… Тереза, были вы сорокой, теперь становитесь черепахой! Дайте же воды для этих пармских фиалок!

ВТОРАЯ ЧАСТЬ

ЖАННА АЛЕКСАНДР

I

Люзанс, 8 августа 1874 года.

Когда я сошел с поезда на станции Мелен, ночь разливалась тишиной над молчаливыми полями. От земли, нагретой за день палящим солнцем, - “тучным солнцем”, как говорят жнецы в долине Вира, - шел крепкий, теплый запах. Над самой почвой медлительно струились ароматы трав. Я отряхнул с себя вагонную пыль и вздохнул ожившей грудью. Мой саквояж, набитый благодаря стараньям экономки бельем и туалетной мелочью - munditiis, - казался мне таким легким, что я помахивал им, как машет школьник сумкой с книжками, выходя из школы.

О, если бы я был еще приготовишкой! Но уже лет шестьдесят без малого прошло с тех пор, как моя мать-покойница, собственноручно намазав виноградным вареньем ломоть хлеба, положила его в корзиночку, надела ее мне на руку и, снарядив меня, отвела в пансион господина Дулуара, стоявший между садом и двором в углу Коммерческого проезда, хорошо знакомого воробьям. Огромный господин Дулуар приветливо улыбнулся нам и погладил меня по щеке - несомненно для лучшего выраженья нежности, которую я внезапно пробудил в нем помимо своей воли. Но как только матушка, вспугнув воробьев, пересекла двор, господин Дулуар перестал улыбаться, он уже не выказывал мне нежности, наоборот: казалось, он рассматривал меня как маленькое существо, крайне неприятное. После мне довелось узнать, что чувства такого рода он питал ко всем своим ученикам. Он наделял нас ударами ферулы с проворством, совершенно неожиданным при его грузной корпуленции. Однако нежность первого свиданья возвращалась к нему всякий раз, когда он разговаривал с матерями в присутствии детей и, хваля наши способности, окидывал нас всех любящим взглядом. Все же хорошим было время, проведенное на партах г-на Дулуара с маленькими товарищами, которые, подобно мне, и плакали и веселились от всей души, с утра до вечера.

Через полвека с лишком эти воспоминанья всплывают в моей душе совершенно ясными и свежими, - здесь под этим звездным, с тех пор ничуть не изменившимся небом, чьи неизменные и тихие светила увидят непреложно, как множество других таких же школьников, каким был я, станут такими же седовласыми и склонными к катарам учеными, каким стал я.

Вы, звезды, сиявшие над легкомысленными или тяжелодумными головами моих забытых предков, при вашем свете я чувствую, как просыпается во мне мучительное сожаленье. Мне бы хотелось иметь потомство, чтобы оно вас видело тогда, когда меня не станет. Я был бы и отцом и дедом, если бы того желали вы, Клементина, когда ваши щечки дышали юной свежестью под розовой шляпкой… Но вы вышли замуж за Ашиля Алье, богатого помещика из Ниверне, отчасти дворянина, ибо отец его, простой крестьянин, скупая национальные поместья, вместе с землей и замками своих господ купил их родовой архив. Я вас не видел с вашего замужества, но уверен, что ваша жизнь в деревенской усадьбе протекла благополучно, тихо и безвестно. Однажды я узнал случайно от друга вашего, что вы ушли из этой жизни, оставив дочь, похожую на вас. С этой

вестью, против которой двадцать лет тому назад восстали бы все силы моей души, в меня вошло как бы великое молчание; чувство, охватившее меня всего, было не острой скорбью, а спокойной, глубокой грустью души, послушной великим наставлениям природы. Я постиг, что то, что я любил, - лишь призрак. Но память о вас всегда пребудет очарованьем моей жизни. Ваш милый образ, медленно увянув, сокрылся под густой травой. Юность вашей дочери прошла. Краса ее несомненно исчезла… А я всегда вас вижу Клементиной с белокурыми кудрями под розовою шляпкой.

Красавица ночь! С великодушной томностью царит она над миром животных и людей, освобождая их от повседневного ярма; и благотворное ее влиянье я ощущаю на себе, хотя в силу шестидесятилетней привычки воспринимаю вещи лишь по знакам, их представляющим. В этом мире для меня живут одни слова - настолько я филолог. Каждый по-своему свершает грезу жизни. Я творю ее в моей библиотеке, и когда пробьет мой час, пусть бог возьмет меня к себе с моей стремянки, приютившейся у полок, забитых книгами.

- Э! Ей-богу, это он! Здравствуйте, господин Бонар! Куда это вы шествовали, пустившись наудачу, когда я ждал вас у станции с кабриолетом? Сойдя с поезда, вы как-то ускользнули от меня, и я ни с чем ехал домой в Люзанс. Давайте же ваш саквояж, влезайте и садитесь со мною рядом. Знаете ли вы, что отсюда до усадьбы добрых семь километров?

Кто это во всю мочь кричит мне из кабриолета? Г-н Поль де Габри, племянник и наследник г-на Оноре де Габри, пэра Франции с 1842 года, недавно скончавшегося в Монако. В самом деле, это г-н Поль де Габри; к нему-то я и ехал с чемоданом, упакованным моей домоправительницей. Этот превосходный человек вместе со своими двумя зятьями недавно получил в наследство именье дяди, происходившего из старого служилого рода и собравшего в люзанском замке библиотеку, богатую рукописями, из коих некоторые восходят к XIII веку. Именно для составленья их описи и каталога ехал я в Люзанс по просьбе Поля де Габри, отец которого, любезный человек и выдающийся библиофил, при жизни поддерживал со мной отменно вежливые отношения. Сын, правду говоря, не унаследовал высоких склонностей отца. Г-н Поль отдался спорту: он знает толк в лошадях и собаках, и думаю, что из всех знаний, способных утолить или обмануть неиссякаемую любознательность людей, знание псарни и

конюшни - единственное, каким владеет он вполне.

Нельзя сказать, чтобы встреча с ним явилась для меня неожиданностью, раз наше свиданье было заранее обусловлено, но, признаюсь, я так увлекся естественным теченьем своих мыслей, что у меня вылетели из головы и люзанский замок, и его хозяева, а когда помещик меня окликнул в самом начале моего пути, который дальше стлался, как говорится, длинной лентой, то в первое мгновенье голос г-на Поля резанул мне уши, словно какой-то чуждый звук.

Опасаюсь, что моя физиономия выдала эту несуразную рассеянность тем выраженьем бестолковости, какое часто у меня бывает при общении с людьми. Саквояж мой водворился в кабриолете, и я последовал туда же. Хозяин мне понравился своею откровенностью и простотой.

- Я ничего не смыслю в ваших старых пергаментах, - сказал он мне, - но у нас найдется, с кем вам поговорить. Помимо здешнего священника, который пишет книги, и доктора, весьма любезного, хотя он и либерал, вы встретите кое-кого, кто с вами и поспорит: это моя жена. Ее нельзя назвать ученой, но, думается, нет той вещи, какой бы она не понимала. К тому же рассчитываю, с божьей помощью, удержать вас у себя подольше, и тогда вы встретитесь с мадемуазель Жанной, обладательницей волшебных пальчиков и ангельской души.

- Барышня, столь счастливо одаренная, ваша родственница? - спросил я.

- Нет, - ответил г-н Поль, устремив взгляд на уши лошади, стучавшей копытами по голубоватой от луны дороге. - Это юная подруга моей жены, круглая сирота. Ее отец вовлек нас в рискованное денежное предприятие, мы выпутались из него, но это обошлось нам дорого.

Затем он покачал головой и, меняя разговор, предупредил меня о той запущенности, в какой найду я парк и замок, совершенно необитаемый в течение тридцати двух лет.

От г-на Поля я узнал, что, живя здесь, его дядя, Оноре де Габри, был беспощаден к браконьерам и дядины сторожа по ним стреляли, как по кроликам. Один из браконьеров, мстительный крестьянин, получивший от самого помещика заряд дроби прямо в лицо, подстерег его однажды вечером из-за деревьев на аллее и только чуть-чуть промахнулся, задев

пулей кончик уха.

- Мой дядя, - добавил г-н Поль, - пытался рассмотреть, откуда был направлен выстрел, но не увидел ничего и обычным шагом вернулся в замок. Наутро он вызвал управляющего и приказал запереть парк и дом, чтобы ни одна живая душа не могла туда войти. Он строго запретил что-либо касаться, что-либо поддерживать или чинить в имении или постройках до своего возвращенья. В заключение он процедил сквозь зубы, что вернется к пасхе или к троице, как то поется в песне*, но так же, как и в песне, троица прошла, а о нем ни слуху ни духу. В прошлом году он умер в Каннах, и мы с зятем первыми вошли в замок, заброшенный уже тридцать два года. Посреди гостиной мы увидали выросший каштан. А чтобы гулять по парку - в нем еще надо провести аллеи.

---

* …вернется к пасхе или к троице, как то поется в песне… - Имеется в виду песенка “Мальбрук в поход собрался, один бог знает, когда он вернется…”, в которой выразилась насмешка французского народа над английским полководцем герцогом Мальборо (1650 - 1722), командовавшим английскими войсками в так называемой войне за испанское наследство.

Спутник мой замолк, и среди шуршанья насекомых, копошившихся в траве, был слышен только мерный перестук копыт. В неясном лунном освещении копны хлеба, расставленные на полях по обе стороны дороги, походили на высоких белых женщин, стоявших на коленях, и я отдался великолепию наивных обольщений ночи. Проехав в густой тени проспекта, мы повернули под прямым углом и покатили по господскому проезду, в конце которого внезапно появился черной массой замок с башенками наверху. Мы ехали мощеной дорогой, подходившей к красному двору и пересекающей ров с проточной водой взамен давно разрушенного подъемного моста. Потеря подъемного моста, думается мне, явилась тем первым унижением, какое претерпела эта воинственная усадьба, прежде

чем приняла миролюбивый вид, с каким она встретила меня. Отраженье звезд в темной воде сверкало дивной чистотой. Г-н Поль, как вежливый хозяин, провел меня на самый верх, до моей комнаты, расположенной в конце длинного коридора, и, извинившись за то, что не может меня представить своей супруге в такой поздний час, пожелал мне доброй ночи.

Комната моя, побеленная и обитая бирюзовой тканью, носит отпечаток галантной прелести XVIII века. Еще теплая зола, свидетельствуя, с каким стараньем изгоняли сырость, наполняла камин, доска которого служила опорой фарфоровому бюсту королевы Марии-Антуанетты. На белой раме тусклого, в пятнах, зеркала два медных крючка, куда в старину дамы вешали свои цепочки, предлагали теперь свои услуги моим часам, которые я тщательно завел, ибо, вопреки положеньям телемитов*, считаю, что человек только тогда хозяин времени, являющегося самой жизнью, когда разбил он время на часы, минуты и секунды - то есть на частицы, соответствующие кратковременности самой жизни человека.

---

* …вопреки положеньям телемитов… - В книге Рабле “Гаргантюа и Пантагрюэль” (кн. I, гл. VII) описано Телемское аббатство, обитатели которого, телемиты, свободны от всяческих уставов, правил и законов: “Вставали они когда вздумается, пили, ели, трудились, спали когда заблагорассудится”.

И я подумал, - жизнь нам кажется короткой только потому, что мы бездумно прилагаем к ней мерило наших легкомысленных надежд. Всем нам, как старику в басне* , во что бы то ни стало надо добавить к нашей постройке еще одно крыло. Прежде чем умереть, я хочу закончить историю аббатов Сен-Жермен-де-Пре. Время, даруемое богом каждому из нас, подобно драгоценной ткани, по которой мы вышиваем, кто как может. Я ткал своим утком различные цветы филологической науки. Так протекали мои мысли. И в тот момент, когда повязывал я голову фуляром, размышления о времени вернули меня к прошлому, и пока минутная

стрелка вторично сделала оборот, я вспомнил вас, Клементина, дабы благословить вас в потомстве вашем, прежде чем загашу свечу и стану засыпать под кваканье лягушек.

____

* …как старику в басне… - Речь идет о басне Лафонтена “Старик и Смерть”, в которой столетний Старик просит у Смерти отсрочки для того, чтобы завершить земные дела: составить завещание, достроить дом и т. д.

II

Люзанс, 9 августа.

За завтраком не раз имел я случай оценить беседу г-жи де Габри, сообщившей, что замок посещают привидения, в частности дама “с тройною складкой на спине”, при жизни отравительница, а после смерти - неприкаянная душа. Нет, мне не передать, как много остроумия и жизни сумела вложить г-жа де Габри в это старинное повествование кормилиц. Мы пили кофе на террасе, где могучий плющ обвил и вырвал из каменных перил балясины, повисшие теперь среди сплетений сладострастного растения, как фессалийки в объятиях кентавров-похитителей.

Замок с башенками на углах, имевший очертания фургона, в результате последовательных перестроек утратил свой истинный характер. То было обширное, почтенное сооружение - и только. Мне показалось, что за тридцать два года запустения оно не потерпело особого ущерба. Но когда г-жа де Габри привела меня в большую гостиную нижнего этажа, я там увидел вспучившийся пол, гнилые плинтусы, потрескавшуюся обшивку стен, почернелую роспись простенков, на три четверти отставшую от рам.

Выросший посреди гостиной каштан раздвинул паркетные дощечки и обращал к выбитым окнам широкие султаны своей листвы.

Не без тревоги взирал я на это зрелище, соображая, что богатая библиотека Оноре де Габри, находящаяся в соседней комнате, так долго подвергалась вредоносным влияниям. И все же, созерцая молодой каштан в гостиной, я не мог не подивиться великолепной мощи природы и непреоборимой силе, побуждающей каждый зародыш претвориться в жизнь. Зато я опечалился при мысли, что усилия, какие употребляем мы, ученые, чтобы сберечь и сохранить вещи умершие, - это усилия и многотрудные и тщетные. Все, что отжило, является необходимой пищей для новых видов бытия. Араб, построивший себе жилище из мрамора пальмирских храмов*, - более философ, чем все хранители музеев Парижа, Лондона и Мюнхена.

---

* Пальмирские храмы. - Пальмира - город древней Сирии, разрушенный в iii в. римлянами.

Люзанс, 11 августа.

Слава богу! Библиотека, окна которой выходят на восток, избегла непоправимого ущерба. Кроме увесистого ряда старинного “Обычного права” in folio, насквозь проеденного сонями, книги в зарешеченных шкафах остались невредимы. Весь день я провел, классифицируя рукописи. Солнце вливалось в высокие незанавешенные окна, и я, не прерывая чтения, иной раз очень интересного, все время слышал, как грузно бились о стекла отяжелевшие шмели, трещала деревянная обшивка стен и мухи, пьяные от света и жары, жужжали, кружась у меня над головой. К трем часам гуденье их усилилось настолько, что я приподнял голову от документа, крайне ценного для истории Мелена XIII века, и начал

наблюдать за концентрическим полетом этих, по выраженью Лафонтена, “животинок”. Должен констатировать, что действие жары на крылья мухи совсем иное, чем на мозги архивиста-палеографа, ибо я испытывал большое затруднение в мыслях и довольно приятное оцепенение, из коего я вышел, лишь сделав резкое усилие. Колокол, возвестив обед, прервал на середине мою работу, и я наспех переоделся, чтобы явиться в приличном виде перед г-жою де Габри.

Обильная трапеза сама собою затянулась. У меня талант, пожалуй выше среднего, дегустировать вино. Хозяин, заметив мои способности, оценил меня настолько, что в мою честь раскупорил отборную бутылочку шато-марго. Я с уваженьем пил это вино высокой породы и благородных свойств, букет которого и вкус превыше всех похвал. Эта пылкая роса, проникнув в мои вены, воодушевила меня юношеским жаром. Сидя возле г-жи де Габри на террасе, в сумерках, окутывающих тайной расплывшиеся очертания деревьев, я имел удовольствие передавать умной хозяйке свои впечатления живо, с большим чувством, что крайне удивительно в человеке, каким являюсь я, то есть в человеке без всякого воображения. Свободно, не прибегая к старинным текстам, описал я ей нежную грусть вечера и красоту родной земли, которая питает нас не только хлебом и вином, но мыслями, верованиями и чувствами и примет всех нас в материнское свое лоно, как маленьких детей, уставших от длительного дня.

- Господин Бонар, - обратилась ко мне моя очаровательная собеседница, - видите эти старые башни, эти деревья, это небо; как естественно родились в такой обстановке персонажи сказок и народных песен! Вон тропинка, по которой Красная Шапочка шла в лес за орехами. Это изменчивое, всегда подернутое дымкой небо бороздили колесницы фей, а северная башня могла скрывать под островерхой крышей старуху пряху, веретеном которой укололась Спящая Красавица.

Я продолжал обдумывать ее прелестные слова, в то время как г-н Поль, попыхивая крепкою сигарой, рассказывал мне о некоей тяжбе, затеянной им с общиной из-за отвода какого-то ручья. Г-жа де Габри, почувствовав вечернюю прохладу, от которой не могла ее защитить шаль, простилась с нами и ушла к себе. Я решил не возвращаться в свою комнату, а вновь пойти в библиотеку и продолжить разбор рукописей. Несмотря на уговоры г-на Поля, побуждавшего меня лечь спать, я вошел в то помещение, какое назову по-старинному книгохранилищем, и взялся за работу при свете

лампы.

Прочтя страниц пятнадцать, написанных, как видно, невежественным и рассеянным писцом, ибо мне было трудновато улавливать их смысл, я сунул руку за табакеркой в зияющий карман сюртука, однако это естественное и как бы инстинктивное движение на сей раз стоило мне известного труда и утомления; тем не менее серебряную коробочку я открыл и взял оттуда несколько крупинок пахучего порошка, но они разлетелись по манишке, оставив мой нос в дураках. Я уверен, что нос мой выразил негодованье, так как он очень выразителен. Он не раз выдавал самые сокровенные мои мысли, особенно в Кутанской публичной библиотеке, где я, под носом у коллеги моего Бриу, выискал картуларий* Нотр-Дам-дез-Анж.

---

* Картуларий - собрание грамот (в копиях), оформлявших имущественные, главным образом поземельные, отношения в Западной Европе в средневековый период.

Какая то была радость! Мои маленькие тусклые глаза в очках не выдали ее ничем. Но, увидав один мой нос картошкой, трепещущий от радости и спеси, Бриу смекнул, что у меня находка. Он заприметил том, который я держал, запомнил место, куда я, уходя, его поставил, взял его сейчас же вслед за мной, тайком списал и наскоро издал мне на смех. Но, думая поддеть меня, поддел лишь самого себя. Его издание кишит ошибками, и я с удовлетворением отметил в нем ряд крупных промахов.

Возвращаюсь к исходному моменту: я заподозрил, что тяготит мой ум только гнетущая сонливость. Перед моими глазами лежал старинный договор, а его значение оценит всякий, если скажу, что в нем упоминается садок для кроликов, запроданный священнику Жану д’Эстурвилю в 1212 году. Чувствуя, насколько важен этот факт, я все-таки не уделил ему того внимания, какого требовал подобный документ. Что я ни делал, мои глаза

всё обращались к концу стола, хотя там не было ни одного предмета, имеющего важность с научной точки зрения. На этом месте лежал лишь большой немецкий том, переплетенный в свиную кожу, с медными гвоздями на досках переплета и толстыми валиками на корешке. То был прекрасный экземпляр компиляции, достойной одобрения лишь за ее гравюры на дереве и хорошо известной под именем Нюрнбергской летописи . Том стоял на среднем своем обрезе благодаря чуть приоткрытым доскам переплета.

Не знаю, сколько времени этот старинный фолиант притягивал к себе без видимой причины мои взоры, как вдруг их захватило зрелище столь необычное, что даже человек, лишенный всякого воображенья, - вроде меня, - поразился бы им живейшим образом.

Я вдруг увидел, не заметив, когда она явилась, маленькую даму, сидевшую на книжном корешке, согнув в колене одну ногу, другую свесив, - почти в той позе, какую принимают, садясь на лошадь, амазонки в Булонском лесу или в Гайд-Парке. Дама была такою маленькой, что ее болтавшаяся ножка не доходила до стола, где стлался змейкой шлейф ее платья. И все же ее лицо и стан могли принадлежать лишь взрослой женщине. Полнота груди, округлость талии не оставляли ни малейшего сомнения на этот счет, - даже у старого ученого вроде меня. Добавляю, без боязни ошибиться, что она была красавица и вида гордого, ибо занятия иконографией издавна приучили меня определять характер внешности и чистоту типа. Лицо дамы, так неожиданно усевшейся на корешке Нюрнбергской летописи , дышало благородством с примесью своенравия. У нее был облик королевы, и притом капризной; по одному выражению ее глаз я заключил, что где-то она пользовалась большою властью, и весьма прихотливо. Рот у нее был властный и иронический, а синие глаза под безукоризненными дугами бровей смеялись, но с каким-то внушающим тревогу выражением. Мне часто приходилось слышать, что темные брови весьма идут блондинкам, - а эта дама была блондинка. В общем, она производила впечатление величия.

Однако ж моя дама была с бутылку ростом, и если бы не мое благоговенье перед ней, я бы мог свободно ее спрятать в заднем кармане сюртука, поэтому должно казаться непонятным, чем же ее особа вызывала представление о величии. Но в самых пропорциях дамы, сидящей на Нюрнбергской летописи , была такая горделивая стройность, такая

величавая гармония, в позе было столько свободы и благородства, что мне она представлялась большой. Чернильница, которую она разглядывала с насмешливым вниманием, как будто заранее читая в ней слова, готовые оттуда выйти на кончике моего пера, - могла бы оказаться для нее достаточно глубоким бассейном, чтобы зачернить вплоть до подвязок ее чулки из розового шелка с золотыми стрелками; но, несмотря на это, повторяю: при всей своей игривости она казалась мне большой и величавой.

Наряд ее, под стать наружности, был исключительно великолепен. Он состоял из серебряно-золотого парчового платья и красно-оранжевой бархатной мантии на беличьем меху. Головной убор на манер двурогой диадемы светился жемчугом чистой воды и сиял, как месяц. В белой ручке она держала палочку, привлекавшую мое внимание, тем более законное, что занятия археологией научили меня довольно точно распознавать по некоторым отличительным знакам действующих лиц сказаний и историй. В данном случае такое знание мне пригодилось. Разглядев палочку, я установил, что она вырезана из веточки орешника. “Так это палочка феи, - сообразил я, - а следовательно, дама, держащая ее, - фея”.

Радуясь тому, что наконец узнал, с кем имею дело, я попытался сосредоточить мысли, чтобы обратиться к ней с почтительным приветствием. Каюсь, мне было бы приятно научно рассказать этой особе о роли ей подобных как среди племен саксонских и германских, так и на латинском Западе. Такая речь мне мыслилась удачным способом выразить даме благодарность за появленье перед старым эрудитом, противно непреложному обычаю родственных ей созданий показываться лишь простодушным детям да темным мужикам.

”Но, становясь феей, не перестаешь быть женщиной, - подумал я. - И раз госпожа Рекамье*, как говорил мне Ж.-Ж. Ампер, гордилась впечатлением, какое красота ее производила на мальчишек-трубочистов, - значит, и сверхъестественная дама, сидящая на Нюрнбергской летописи , будет польщена, услышав, как ученый станет научно трактовать ее, подобно образку, медали, фибуле или печати”. Но это намерение, дорого стоившее моей застенчивости, оказалось и вовсе неосуществимым, когда я увидел, что дама, сидящая на Летописи , проворно вынула из сумочки, висевшей сбоку, орешки, - такие маленькие, каких не видывал я в жизни, - и стала грызть их зубками, бросая скорлупу мне в нос, а ядрышки жевать с

сосредоточенностью ребенка, сосущего грудь матери.

____

* Госпожа Рекамье Юлия-Аделаида (1777 - 1849) - хозяйка блестящего парижского салона времен Реставрации, где собирались сливки общества, привлеченные ее умом и красотой.

В этом случае я поступил так, как того требовало достоинство науки, - я промолчал. Но скорлупа вызывала у меня неприятную щекотку, тогда я заслонил рукою нос и тут же убедился с великим изумлением, что очки сидят на самом его кончике и даму вижу я не сквозь стекла, а поверх - вещь непостижимая, так как мои глаза, сильно пострадавшие от древних текстов, не могут без очков отличить дыню от графина, даже поставленного под самым моим носом.

Этот нос, столь замечательный своей массивностью, окраскою и формой, вполне законно привлек внимание феи, и она, схватив гусиное перо, торчавшее султаном из чернильницы, провела мне по носу его бородкой. В компании мне случалось иной раз подвергаться безобидным проделкам барышень, которые, включив меня в свою игру, предлагали поцеловать их в щеку сквозь спинку стула или давали мне гасить свечу, но сразу поднимали ее так высоко, что я не мог ее задуть. До сей поры, однако, ни одна особа их пола не изощрялась надо мной в таких причудливых капризах и не щекотала мне ноздрей моим же собственным пером. По счастью, я вспомнил наставленье дедушки-покойника, обычно говорившего, что дамам все позволено и все идущее от них есть милость и благоволенье. Поэтому скорлупки и перо я воспринял как милость и благоволенье и попытался улыбнуться. Больше того - я заговорил!

- Сударыня, - произнес я с достоинством и вежливо, - вы посещением своим оказываете честь не мужику и не сопливому мальчишке, а библиофилу, который счастлив знакомством с вами и знает, что некогда вы посещали стойла и спутывали гривы кобылицам, пили молоко из

пенящихся крынок, нашим дедам сыпали за шиворот колючки, из очага выбрасывали искры добрым людям прямо в нос, - короче говоря, вносили в дом веселье и сумятицу. Сверх того, вы можете похвастать, как вечерами очень забавно пугали в рощах загулявшиеся парочки. Мне казалось, что вы исчезли навсегда уже три столетия тому назад. Возможно ли, сударыня, что я вижу вас теперь, во времена железных дорог и телеграфа? Моя привратница, когда-то бывшая кормилицей, вашей истории уже не знает, а сосед-малыш, хотя нянька еще и утирает ему нос, стоит на том, что вы не существуете совсем.

- А вы на этот счет какого мнения? - серебристым голоском спросила она, молодцевато повернув свою королевскую фигурку и нахлестывая корешок Летописи , словно то был гиппогриф*.

---

* Гиппогриф - крылатый конь, описанный в поэме итальянского поэта Лодовико Ариосто (1474 - 1533) “Неистовый Роланд”.

- Не знаю, - ответил я, протирая глаза.

Этот ответ, отмеченный глубоко научным скептицизмом, произвел на мою собеседницу весьма неблагоприятное впечатление.

- Господин Сильвестр Бонар, - сказала она, - вы тупица. Я и всегда подозревала это. Любой мальчишка, бегающий по улицам с торчащей из штанишек рубашонкой, знает меня лучше, чем все очкастые людишки разных ваших институтов и ваших академий. Знание - ничто, воображенье - все. Существует только то, что воображаешь. Меня воображают. По-моему, это и значит - существовать. Обо мне мечтают - я являюсь. Всё лишь мечта. И поскольку нет никого, кто бы мечтал о вас, Сильвестр Бонар, то это вы не существуете. Я зачаровываю мир; я везде: в луче лунного света, в журчанье скрытого ключа, в говоре трепещущей листвы, в белых парах, что по утрам поднимаются с низин лугов, в розовом вереске -

повсюду!.. Всякий, кто меня видит, - меня любит. Люди вздыхают, люди дрожат, напав на легкий след моих шагов, шуршащих опавшею листвою. Я вызываю у детей улыбку, я наделяю остроумием кормилиц, даже самых толстых. Склонясь над колыбелью, я шалю, я утешаю, я навеваю сон, а вы еще сомневаетесь в моем существовании! Сильвестр Бонар, под вашей фуфайкой - ослиная шкура!

Она умолкла; ее тонкие ноздри раздувались от негодованья, и покамест я, невзирая на свою досаду, любовался героическим гневом этой маленькой особы, она провела моим пером в чернильнице, как в озере веслом, и бросила перо мне в нос, острием вперед.

Я отер лицо, почувствовав, что все оно забрызгано чернилами. Она исчезла. Лампа погасла; лунный луч пронизывал окно и упадал на Летопись. Свежий ветер, поднявшись незаметно, развеял мою бумагу, перья и облатки для заклейки. Стол оказался весь в чернильных пятнах. Я не закрыл окна, пока была гроза. Какое упущенье!

III

Люзанс, 12 августа.

Согласно обещанию, я написал моей домоправительнице, что жив и невредим. Но о том, что заснул вечером при открытом окне в библиотеке и получил насморк, я воздержался сообщить, ибо эта превосходная женщина пощадила бы меня в своих укорах не больше, чем парламенты щадили королей. “В вашем возрасте - и быть таким неразумным”, - сказала бы она. По простодушию, она уверена, что с возрастом становишься разумнее. Я в этом смысле представляюсь ей исключением.

Не имея тех же оснований утаивать это приключенье от г-жи де Габри, я рассказал ей свой сон с начала до конца. Рассказал таким, каким я его видел и записал в этом дневнике. Искусство вымысла мне чуждо. Тем не менее возможно, что в рассказе, а также в записи я вставил там и сям

некоторые обстоятельства и выражения, каких и не было сначала, - конечно, не ради извращения истины, а, скорее, по тайному желанию уточнить и прояснить все то, что оставалось темным или смутным, а может быть, и уступая тому влеченью к аллегориям, какое с детства я воспринял от греков.

Госпожа де Габри слушала меня не без удовольствия.

- Ваше видение очаровательно! - сказала она. - И для таких видений необходим очень живой ум.

- Значит, я умен, когда сплю.

- Когда мечтаете, - поправила она, - а вы мечтаете всегда.

Я понимаю, что, выразившись так, г-жа де Габри просто хотела мне доставить удовольствие, но само это намерение уже заслуживает всей моей признательности, и я лишь из чувства благодарности и ради нежного воспоминанья отмечаю ее слова в этой тетради, которую я буду перечитывать до самой смерти, а кроме меня, никто читать не станет.

Последующие дни употребил я на окончание инвентаря рукописей люзанской библиотеки. Несколько слов, вырвавшихся у г-на де Габри в минуту откровенности, неприятно поразили меня, и я решил вести работу иначе, нежели начал. От него узнал я, что состояние Оноре де Габри, управляемое плохо с давних пор, особенно пострадало при разорении некоего - не названного мне - банкира и перешло наследникам бывшего пэра Франции лишь в виде заложенной недвижимости и безнадежных векселей.

Господин Поль, по соглашению с наследниками, решил продать библиотеку, мне же предстояло изыскать наиболее выгодные способы ее продажи. Как человек, совершенно чуждый торговым сделкам и денежным делам, я для совета решил привлечь одного из моих друзей-книгопродавцев. Я написал ему, чтоб он приехал ко мне в Люзанс, а в ожидании его приезда, взяв трость и шляпу, отправился в окрестности осматривать церкви, так как в некоторых из них сохранились надгробные надписи, еще не восстановленные должным образом.

С этой целью покинул я своих хозяев и стал паломником. Каждый день

обследовал я кладбища и церкви, посещал священников и деревенских нотариусов, ужинал в трактирах вместе с разносчиками и прасолами, засыпал на простынях, надушенных лавандой, и так провел я целую неделю, - не забывал, конечно, о покойниках, но вместе с тем вкушал тихую, глубокую отраду, наблюдая, как живые совершают свой каждодневный труд. В области, составлявшей предмет моих исканий, я сделал лишь маловажные открытия, а следовательно, они порадовали меня радостью умеренной, зато здоровой и никоим образом не утомительной. Я восстановил несколько интересных эпитафий, присоединив к этому малому сокровищу ряд деревенских кухонных рецептов, любезно сообщенных мне добрым священником.

Обогащенный такими знаниями, вернулся я в Люзанс и шествовал по красному двору, с затаенным самодовольством буржуа, идущего к себе домой. В этом сказалась доброта моих хозяев; и то чувство, какое ощутил я на пороге, доказывает лучше всяких рассуждений всю прелесть их гостеприимства.

Я прошел до большой гостиной, не встретив никого, и молодой каштан, раскинувший свою широкую листву, мне показался другом. Но то, что я затем увидел на консоле, меня так сильно поразило, что я обеими руками поправил на носу очки, а себя ощупал с целью убедиться хотя бы внешним образом, что я еще живу. В одно мгновение у меня мелькнуло двадцать мыслей, и самой основательной из них была та, что я сошел с ума. Мне представлялось невозможным, чтобы видимое мной существовало, но и нельзя было не признать в этом нечто существующее. Поразивший меня предмет стоял, как было сказано, на консоле, под мутным и пятнистым зеркалом.

В этом зеркале я разглядел и, могу сказать, впервые увидал совершенный образ изумления. Но я сейчас же оправдал себя и согласился сам с собой, что изумила меня вещь, на самом деле изумительная.

Я продолжал рассматривать предмет все с прежним, не слабевшим от раздумья удивлением, тем более что сам предмет давал возможность изучать его в полной неподвижности. Устойчивость и неизменность этого феномена не допускали мысли о галлюцинации. Я совершенно не подвержен нервным недугам, расстраивающим зрение. Причиной их обычно являются неправильности в действии желудка, а у меня желудок,

слава богу, работает отлично. К тому же обманам зрения сопутствуют обстоятельства особого, анормального порядка; они действуют на самих галлюцинирующих и внушают им какой-то ужас. Ничего подобного со мной не происходило, и предмет, который я видел, хотя сам по себе и невозможный, являлся мне в условиях естественной реальности. Я заметил, что он трехмерен, окрашен и отбрасывает тень. О! Как я рассматривал его! Слезы выступили мне на глаза, и я был вынужден протереть очки.

В конце концов пришлось мне покориться очевидности и констатировать, что передо мною фея, - фея, которая мне снилась вечером в библиотеке. Это была она, она, я утверждаю. Все тот же вид ребячливой королевы, гибкая и гордая фигурка, в руках ореховая палочка, на голове - двурогая диадема, и парчовый шлейф по-прежнему змеится у ее крошечных ножек. То же лицо, тот же рост. Это действительно она; и всякие сомнения устранило то, что она сидела на корешке старинной толстой книги, схожей с Нюрнбергской летописью . Ее недвижность ободрила меня только отчасти, и, говоря по правде, я боялся, как бы она не вынула из сумочки орешки и вновь не стала бы швырять скорлупки мне в лицо.

Так я стоял с открытым ртом и опустивши руки, когда до слуха моего донесся голос г-жи де Габри.

- Вы, господин Бонар, рассматриваете вашу фею? - сказала мне хозяйка. - Ну как? Похожа?

Речь короткая, но пока я слушал, я успел определить, что эта фея - статуэтка из цветного воска, вылепленная еще неопытной рукой. Феномен, получивший таким путем рациональное истолкование, все же озадачивал меня. Как и благодаря кому получила дама Летописи материальное бытие? Вот что не терпелось мне узнать.

Обернувшись к г-же де Габри, я заметил, что она не одна. Юная девица в черном стояла рядом с нею. Глаза, нежно-серые, как небо Иль-де-Франса, выражали одновременно смышленость и наивность. Руки, немного хрупкие, заканчивались беспокойными кистями, тонкими, но красными, как подобает рукам девочек. Затянутая в мериносовое платье, она напоминала молодое деревце, а большой рот свидетельствовал о прямоте ее души. Не могу выразить, до какой степени эта девочка понравилась мне

с первого же взгляда. Нельзя было назвать ее красивой, но ямочки на ее подбородке и щеках смеялись, и во всей ее наивной и угловатой фигуре было что-то хорошее и честное.

Мой взор переходил от статуэтки к девочке, и я увидел, как зарделась она румянцем, откровенным, густым, нахлынувшим волной.

- Так что же? - вновь спросила хозяйка, уже привыкшая к тому, что я рассеян и что меня надо переспрашивать по нескольку раз. - Это в самом деле та особа, которая для свиданья с вами влезла в окно, оставленное вами незатворенным? Она была весьма дерзка, а вы весьма неосторожны. Словом, узнаёте ли вы ее?

- Да, это она, - ответил я. - И здесь, на консоле, я вижу ее вновь такою, какою видел на столе в библиотеке.

- Если это так, - ответила г-жа де Габри, - то в таком сходстве повинны прежде всего вы, человек, по вашим словам, безо всякого воображенья, однако способный описывать сны живыми красками; потом я - тем, что удержала в памяти и сумела верно передать ваш сон; наконец, и в особенности, мадемуазель Жанна - тем, что она по моим точным указаниям вылепила из воска эту статуэтку.

Говоря так, г-жа де Габри взяла девушку за руку. Но Жанна высвободилась и побежала в парк.

Госпожа де Габри окликнула ее:

- Жанна! Можно ли быть такой дикаркой! Идите сюда, я вас пожурю!

Но все напрасно - беглянка скрылась за листвою. Г-жа до Габри села в единственное кресло, уцелевшее в разрушенной гостиной.

- Уверена, - сказала мне она, - что мой муж уже говорил вам о Жанне. Мы очень ее любим, она замечательная девочка. Скажите правду, как вы находите эту статуэтку?

Я отвечал, что сделана она с большим умом и вкусом, но автору ее недостает и навыка и школы; впрочем, я крайне тронут всем тем, что сумели вышить юные персты по канве рассказа такого простака, так

блестяще изобразив сновиденье старого болтуна.

- Я спрашиваю вашего мнения об этом потому, что Жанна бедная сирота, - сказала г-жа де Габри. - Как вы думаете, сможет ли она зарабатывать немного денег такими статуэтками?

- Нет! - ответил я. - Да тут не о чем особенно жалеть. Она девушка, вы говорите, любящая и нежная, - я верю вам и верю ее лицу. В жизни художника бывают увлеченья, которые выводят и благородные души из границ умеренности и порядочности. Это юное создание вылеплено из любвеобильной глины. Выдавайте ее замуж.

- Но у нее нет приданого, - возразила г-жа де Габри. Затем, слегка понизив голос, продолжала:

- Вам, господин Бонар, я могу сказать все. Отец этой девочки был известный финансист. Он ворочал большими делами. Ум у него был предприимчивый и обольстительный. Его нельзя назвать бесчестным человеком: обманывая других, он прежде всего обманывался сам. В этом, пожалуй, и заключалось наибольшее его искусство. Мы находились с ним в близких отношениях. Он заворожил нас всех: мужа, дядю и моих кузенов. Крах его наступил внезапно. В этой беде погибло на три четверти и состояние дяди. Поль вам об этом говорил. Мы лично пострадали гораздо меньше, да у нас и нет детей!.. Отец Жанны умер вскоре после разорения, не оставив ровно ничего, - вот почему я говорю, что он был честным человеком. Имя его должно быть вам известно по газетам: Ноэль Александр. Жена его была очень мила и некогда, я думаю, была хорошенькой, только любила покрасоваться. Но когда супруг ее разорился, она вела себя с достоинством и мужеством. Через год после его смерти умерла и она, оставив Жанну круглой сиротой. Из собственного состояния, довольно значительного, ей ничего не удалось спасти. Госпожа Ноэль Александр, в девицах Алье, была дочерью Ашиля Алье из Невера.

- Дочь Клементины! - воскликнул я. - Умерла Клементина, умерла и дочь ее! Почти все человечество состоит из мертвецов: так ничтожно количество живущих в сравнении со множеством отживших. Что это за жизнь - короче памяти людской!

И мысленно я сотворил молитву:

”Клементина! Оттуда, где вы находитесь теперь, взгляните в сердце, с годами охладевшее, но от любви к вам когда-то полное кипучей крови, и скажите, не оживает ли оно при мысли о возможности любить то, что остается на земле от вас? Все преходяще, как были преходящи вы и ваша дочь; но жизнь бессмертна, - вот эту жизнь в ее бесконечно обновляющихся образах и надлежит любить.

Роясь в своих книгах, я был ребенком, который перебирает бабки. Жизнь моя напоследок ее дней приобретает новый смысл, интерес и оправданье. Я - дедушка. Внучка Клементины бедна. Я не хочу, чтобы кто-нибудь другой, кроме меня, заботился о ней и наделил ее приданым”.

Заметив, что я плачу, г-жа де Габри тихонько удалилась.

IV

Париж, 16 апреля.

Святой Дроктовей и первые аббаты Сен-Жермен-де-Пре уже лет сорок занимают мое внимание, но я не знаю, удастся ли мне написать историю их до того, как я приобщусь к ним. Я стар уже давно. В прошлом году один собрат мой по Академии жаловался при мне на мосту Искусств, как скучно стариться. “Но пока известно только это средство продления жизни”, - отвечал ему Сент-Бев. Я воспользовался этим средством и знаю ему цену. Горе не в том, что жизнь затягивается, а в том, что видишь, как все вокруг тебя уходит. Мать, жену, друзей, детей - эти божественные сокровища - природа и создает и разрушает с мрачным безразличием; в конечном счете оказывается, что мы любили, мы обнимали только тени. Но какие милые бывают среди них! Если бывает, что в жизни человека проскальзывает тенью живое существо, то у меня такою мимолетной тенью была девушка, которую я любил, когда и я был молод (хотя это кажется теперь невероятным). А все-таки воспоминанье об этой тени до сей поры есть лучшая реальность моей жизни.

В римских катакомбах на одном из христианских саркофагов начертано заклятье, страшный смысл которого я понял лишь со временем. Там говорится: “Если нечестивец осквернит эту могилу, пусть он переживет всех своих близких”. Как археолог, я раскрывал гробницы, тревожил прах, чтобы собрать смешавшиеся с прахом обрывки тканей, металлические украшенья, геммы. Я делал это из любознательности ученого, далеко не чуждой благоговейного почтения. Да не постигнет меня никогда проклятье, начертанное на могиле мученика одним из первых апостольских учеников! Да и как оно могло бы поразить меня? Мне не приходится бояться пережить близких: пока здесь на земле есть люди, всегда найдутся среди них достойные любви.

Увы! Способность любить слабеет и теряется с годами, как и другие силы человеческого духа. Так учит опыт - вот что меня приводит в ужас. Разве я уверен, что не понес и сам такой великой утраты? Разумеется, я и понес бы ее, когда б не эта счастливая встреча, вернувшая мне молодость. Поэты воспевают источник юности: он существует, он бьет из-под земли на каждом шагу. А люди проходят мимо, не вкушая из него!

Моя жизнь переставала быть полезной, но с той поры, как я нашел внучку Клементины, она приобрела вновь оправдание и смысл.

Сегодня я “набираюсь солнца”, как говорят в Провансе, - набираюсь на террасе Люксембургского дворца*, у статуи Маргариты Наваррской. Солнце весеннее, пьянящее, как молодое вино. Сижу и размышляю. Из головы моей бьют мысли, как пена из бутылки пива. Они легки и забавляют меня своею искрометностью. Я мечтаю, - думается, что это позволительно старичку, который издал тридцать томов старинных текстов и двадцать шесть лет сотрудничал в “Вестнике ученых”. Я чувствую удовлетворение, выполнив свой жизненный урок настолько хорошо, насколько это было для меня возможно, и до конца использовав посредственные способности, отпущенные мне природой. Мои старания оказались “е совсем напрасны, и - в скромной доле - я содействовал тому возрожденью исторических работ, какое пребудет славой этого неугомонного века. Я несомненно попаду в число десяти - двенадцати ученых, раскрывших Франции древние памятники ее литературы. Обнародование мной поэтических произведений Готье де Куэнси**

заложило основу здравой методологии и стало вехой, Только в суровом старческом успокоении я присуждаю себе эту заслуженную награду, и богу, который видит мою душу, известно, причастны ли хоть в малой доле гордость и тщеславие той оценке, какую я даю себе.

---

* Терраса Люксембургского дворца. - Люксембургский дворец расположен недалеко от здания Французской академии и от набережной Малакэ, где жил Сильвестр Бонар. К дворцу примыкает сад, расположенный террасами.

** Готье де Куэнси (1177 - 1236) - французский монах, автор религиозных песнопений и записей легенд.

Но я устал, в глазах у меня мутится, рука дрожит, и свой прообраз я вижу в тех гомеровских стариках, которые по слабости держались вдалеке от боя* и, сидя на валах, стрекотали, подобно кузнечикам в траве.

---

* …в тех гомеровских стариках, которые… держались вдалеке от боя… - эпизод из Илиады (песнь III, стихи 145 - 155).

Так протекали мои мысли, когда трое молодых людей шумно уселись по соседству от меня. Не знаю, приехал ли каждый из них в трех лодках, как обезьяна в басне Лафонтена*, но верно то, что втроем они заняли двенадцать стульев. Я с удовольствием их наблюдал, - не потому, чтобы

они представляли собою нечто из ряда вон выходящее, но в них я увидел то честное и жизнерадостное выраженье, какое присуще юности. То были студенты. В этом я убедился не столько по книгам в их руках, сколько по самому характеру их облика. Ибо все, кто занимается умственным трудом, узнают друг друга с первого же взгляда по какому-то признаку, общему им всем. Я очень люблю молодежь, и эти юноши мне нравились, несмотря на несколько вызывающие и диковатые манеры, поразительно напоминавшие мне время моего учения. Они, однако, не носили, как мы, длинных волос**, ниспадавших на бархатные куртки; не разгуливали, как мы, с изображеньем черепа; не восклицали, как мы: “Проклятие и ад!” Одеты они были прилично, и ни в их костюмах, ни в речи не чувствовалось ни малейшего подражания средневековью. Следует добавить, что они не оставляли без внимания проходивших по террасе женщин и некоторым из них давали оценку в довольно ярких выражениях. Однако их суждения на эту тему не заходили так далеко, чтобы я был вынужден покинуть свое место. Впрочем, когда молодежь прилежна к занятиям, я не сержусь на ее шалости.

---

* …как обезьяна в басне Лафонтена… - В басне Лафонтена “Обезьяна и Леопард” Обезьяна, зазывая зрителей в свой балаган, хвастается, что приехала в город на трех лодках.

** …они не носили, как мы, длинных волос… - Юность Сильвестра Бонара пала на годы романтизма во Франции, когда в моду вошли взвинченные страсти и увлечение средневековьем; литературная молодежь той поры щеголяла невероятными костюмами и прическами, бросая вызов буржуазной “благопристойности”.

Один из них отпустил какую-то вольную шутку.

- Что это значит? - воскликнул с легким гасконским выговором самый низенький и самый черный из троих. - Это нам, физиологам, пристало

заниматься живой материей. А вы, Жели, как все ваши собратья, архивисты-палеографы, живете только в прошлом, ну и занимайтесь вашими современницами - вот этими каменными женщинами!

И он указал пальцем на статуи женщин старой Франции, во всей своей белизне стоявшие полукругом под деревьями террасы. Эта шутка, сама по себе пустячная, все же довела до моего сведения, что тот, кого звали Жели, был студентом Архивной школы*. Из последующего разговора я узнал, что сосед его, блондин, бледный как тень, неговорливый и саркастичный, был его товарищем по школе и звался Бульмье. Жели и будущий врач (желаю ему со временем стать им) разглагольствовали с большой фантазией и жаром. Поднявшись до умозрительных высот, они играли словами и говорили глупости, свойственные умным людям, иными словами - глупости ужасные. Нет нужды добавлять, что они изрекали самые чудовищные парадоксы. И в добрый час! Не люблю молодых людей чрезмерно рассудительных.

---

* Архивная школа (основана в 1821 г .) - высшее учебное заведение, готовящее архивариусов, текстологов и библиотекарей. Помещалось на улице Паради-о-Маре.

Студент-медик, посмотрев заглавие книги, бывшей в руках у Бульмье, сказал:

- Вот как! Читаешь Мишле*?

---

* Читаешь Мишле? - Да, я люблю романы. - Выдающийся французский историк Жюль Мишле (1798 - 1874) отличался напряженно-эмоционалыюй манерой повествования.

- Да, я люблю романы, - серьезно ответил Бульмье. Жели, выделявшийся своей красивой стройной фигурой, властной манерой и бойкой речью, взял книгу и, перелистав, сказал:

- Это Мишле в его последней манере, лучший Мишле. Нет больше повествований. Есть только гнев, восторги, эпилептический припадок из-за фактов, которые он не удостаивает излагать. Детские выкрики, капризы беременной женщины! Воздыхания, и ни одной законченной фразы! Поразительно! - И он вернул книгу товарищу.

”Это дурачество занятно, - подумал я, - и не так уж бессмысленно, как может показаться. В последних писаниях нашего великого Мишле действительно есть некоторая взволнованность, я бы даже сказал - трепетность”.

Но студент-провансалец начал утверждать, что история не что иное, как упражнение в риторике, достойное всяческого презрения. По его мнению, единственной и настоящей историей является естественная история человека. Мишле был на правильном пути, когда рассказывал о фистуле Людовика XIV, но тут же опять въехал в старую колею.

Высказав эту основательную мысль, юный физиолог присоединился к группе проходивших мимо приятелей. Оба архивиста, редкие гости в этом саду, чересчур отдаленном от улицы Паради-о-Маре, остались одни и повели беседу о своих занятиях. Жели, кончавший третий курс и готовивший диссертацию, тут же с юношеским восторгом изложил тему. По правде говоря, тема показалась мне удачной, тем более что я и сам подумывал разработать в ближайшее же время ее существенную часть. Дело шло о Monasticon gallicanum*. Юный ученый (именую его так в виде предсказания) хотел дать объяснение ко всем доскам, гравированным в 1690 году для сочинения, которое Дом Жермен** отпечатал бы и сам, когда бы не помеха, неустранимая, непредвидимая и неизбежная для всех. Умирая, Дом Жермен все же оставил рукопись законченной, в полном

порядке. Доведется ли мне сделать то же со своей? Но не в этом дело. Как я понял, г-н Жели намеревался посвятить археологическую заметку каждому аббатству, изображенному скромными граверами для Дома Жермена.

____

* Галльские монастыри (лат.).

** Дом Жермен - Жермен Мишель (XVII в.), автор “Истории монастырей бенедиктинского ордена”. Дом (от лат. dominus) - звание, которое давалось некоторым влиятельным деятелям ордена.

Друг спросил Жели, все ли рукописные и печатные источники по этому предмету ему известны. Тут я насторожился. Они сначала обсуждали подлинные документы и, должен признаться, делали это с достаточною методичностью, несмотря на множество нескладных каламбуров. Затем они дошли до современных критических работ.

- Читал ли ты заметку Куражо*? - спросил Бульмье. “Хорошо”, - подумал я.

____

* Куражо Луи (1841 - 1896) - французский историк искусства.

- Да, - отвечал Жели, - работа добросовестная.

- А ты читал в “Историческом обозрении” статью Тамизе де Ларока*? - спросил Бульмье.

---

* Тамизе де Ларок (1828 - 1888) - ученый-филолог, издавший, ряд старинных рукописей.

”Хорошо”, - подумал я вторично.

- Да, - отвечал Жели, - и я нашел там ряд полезных указаний.

- А ты прочел “Обзор бенедиктинских аббатств в тысяча шестисотом году” Сильвестра Бонара?

”Хорошо”, - подумал я в третий раз.

- Ей-богу, нет! - ответил Жели. - Да и не знаю, стану ли читать. Сильвестр Бонар - дурень.

Обернувшись, я заметил, что тень уже дошла до того места, где я сидел. Становилось свежо, и я почел нелепым получить ревматизм, слушая дерзости двух самонадеянных юнцов.

”Ну, ну! - сказал себе я, поднимаясь. - Пусть этот болтливый птенчик напишет диссертацию и защитит ее. Он попадет к коллеге моему Кишра* или другому профессору, которые ему покажут, что он еще не оперился. Считаю его просто сквернословом. И на самом деле, все сказанное им о Мишле, как подумаю сейчас об этом, несносно и переходит всякие границы. Так говорить о старом талантливом учителе! Это гадко!”

---

* Кишра Жюль (1814 - 1882) - ученый-археолог, автор исследований по

средневековой истории Франции.

17 апреля.

- Тереза, дайте мне новую шляпу, лучший сюртук и палку с серебряным набалдашником!

Но Тереза глуха, как куль с углем, и медлительна, как правосудие. Тому причиной ее годы. Хуже всего то, что она воображает, будто хорошо слышит и легка на ногу, и, гордясь шестидесятилетней честной службой в доме, обслуживает старика хозяина с самым бдительным деспотизмом.

Что я вам говорил!.. Вот и теперь она не хочет дать мне палку с серебряным набалдашником, опасаясь, как бы я ее не потерял. Правда, я довольно часто забываю зонты и трости в омнибусах и книжных лавках. Но сегодня я имею полное основание взять мою старинную трость с серебряным чеканным набалдашником, где изображен Дон Кихот в тот момент, когда он, держа копье наперевес, стремится в бой с ветряными мельницами, а Санчо Панса, воздевая руки к небу, тщетно заклинает его остановиться. Эта палка - все, что получил я из наследства дяди, капитана Виктора, который при жизни больше походил на Дон Кихота, чем на Санчо Пансу, и так же любил драки, как другие их боятся.

Уже тридцать лет ношу я эту палку при каждом знаменательном или торжественном выходе своем из дома, и две фигурки - господина и оруженосца - вдохновляют меня и подают советы. Мне чудится, я слышу их. Дон Кихот мне говорит:

"Крепко размышляй о вещах великих и знай, что мысль - единственная реальность в мире. Возвышай природу до себя, и да будет для тебя вселенная лишь отблеском твоей героической души. Бейся за честь; только это достойно мужчины; а если тебе случится получить раны, лей свою кровь, как благодатную росу, и улыбайся".

А Санчо Панса говорит мне так:

”Оставайся, приятель, тем, чем создал тебя всевышний. Предпочитай корку хлеба, лежащую в твоей суме, жареным овсянкам на кухне господина. Повинуйся хозяину, умному и безумному, и не забивай свои мозги вещами бесполезными. Бойся драк: искать опасности - значит искушать бога”.

Но, если несравненный рыцарь и бесподобный оруженосец пребывают как образ на моей палке, - они существуют как действительность в глубинах моей души. Во всех нас есть и Дон Кихот и Санчо Панса, и мы прислушиваемся к ним; но если даже нас убеждает Санчо Панса, то восхищаться должно только Дон Кихотом… Однако довольно болтовни… Пойдем к г-же де Габри по делу, выходящему из круга обычной жизни.

Тот же день.

Я застал г-жу де Габри уже одетой в черное и надевающей перчатки.

- Я готова, - сказала она.

”Готова” - такой я находил ее всегда для добрых дел.

Мы сошли с лестницы и сели в карету.

Не знаю, какое тайное наитие боялся я рассеять, прервав молчанье, но вдоль широких пустых бульваров мы ехали, не проронив ни слова, лишь глядя на кресты, надгробья и венки, ждущие у продавца своих могильных потребителей.

Карета остановилась у последних пределов земли живых, перед воротами, где начертаны слова надежды.

Мы шли по кипарисовой аллее, затем свернули на узкую дорожку, проложенную среди могил.

- Здесь, - сказала г-жа де Габри.

На фризе, украшенном опрокинутыми факелами, была вырезана надпись:

СЕМЬЯ АЛЬЕ И СЕМЬЯ АЛЕКСАНДР

Вход к памятнику замыкала решетка. В глубине, над алтарем, покрытым розами, высилась мраморная доска с именами, среди которых я прочел имя Клементины и дочери ее.

То, что я почувствовал при этом, было нечто глубокое и смутное, что выразимо только звуками прекрасной музыки. В старой душе моей я услыхал мелодию небесно-нежных инструментов. С величавой гармонией похоронного гимна мешались приглушенные звуки песнопения любви, ибо душа моя сливала в одно чувство и мрачную серьезность этой минуты, и дорогую сердцу прелесть былого.

Покидая могилу, благоухающую розами, принесенными г-жой де Габри, мы прошли по кладбищу, ни слова не сказав друг другу. Когда мы снова очутились среди живых, язык мой развязался.

- Пока я шел вслед за вами по этим немым аллеям, - сказал я г-же де Габри, - я думал о тех ангелах, с которыми, по словам легенд, встречаются на таинственном рубеже жизни и смерти. Вы привели меня к могиле, неведомой мне, как почти все, что относилось к покоящейся там, среди своих родных; и вот ее могила вновь вызвала переживанья, единственные в моей жизни, а в этой тусклой жизни они - как одинокий свет среди дороги ночью: свет отдаляется тем больше, чем дальше от него уводит путь. На склоне жизни я нахожусь почти у конца спуска, и все же, обернувшись, каждый раз я вижу этот свет таким же ярким. Воспоминания теснятся в душе моей. Я - словно старый, мшистый и корявый дуб, что будит стайки певчих птиц, колебля свои ветви. К сожалению, песня моих птиц стара, как мир, и занимательна лишь для меня.

- Эта песня меня пленит, - сказала мне она. - Поделитесь же со мной воспоминаниями и расскажите мне все, как старой женщине: причесываясь сегодня утром, я нашла у себя три седых волоса.

- Встречайте появленье их без грусти, - ответил я, - время ласково лишь с теми, кто принимает его с лаской. И через много лет, когда ваши черные пряди подернутся налетом серебра, вы облечетесь новою красой, не такой яркой, но более трогательной, чем первая, и вы увидите, что муж ваш будет любоваться этой сединой, как черным локоном, который он получил от вас в день свадьбы и носит в медальоне на груди своей, точно святыню. Эти бульвары широки и малолюдны. Здесь мы можем говорить спокойно, продолжая путь. Сначала я расскажу о своем знакомстве с отцом Клементины. Но не ждите ничего замечательного, ничего особенного, иначе вас постигнет большое разочарование.

Господин де Лесе жил на проспекте Обсерватории, в третьем этаже старинного дома, оштукатуренный фасад которого с античными бюстами и большой заросший сад явились первыми образами, запечатлевшимися в моих ребяческих глазах; и когда пробьет неизбежный час, то, несомненно, они последними мелькнут под отяжелевшими моими веками, ибо в этом доме я родился, а в этом саду, играя, научился чувствовать и познавать какие-то частицы нашей древней вселенной. Часы чарующие, часы святые, когда душа со всей своею свежестью обнаруживает мир, ради нее облекшийся ласкающим сияньем и таинственной прелестью. Ведь и на самом деле, сударыня, вселенная - лишь отблеск нашей души.

Матушка моя была созданием, весьма счастливо одаренным. Как птицы, она пробуждалась вместе с солнцем и походила на них своею домовитостью, родительским инстинктом, всегдашнею потребностью петь и какой-то резвой грацией, которую я очень чувствовал, хотя и был совсем дитя. Она являлась душою дома, наполняя его своей хозяйственной и радостною хлопотливостью. Если моя мать отличалась живым характером, то у отца, напротив, была вялая натура. Я вспоминаю безмятежное его лицо, где временами мелькала ироническая улыбка. Человек он был усталый и любил свою усталость. Сидя в большом кресле у окна, он читал с утра до вечера, и это от него унаследовал я любовь к книгам. У меня в библиотеке есть экземпляры Рейналя и Мабли*, испещренные от первой до последней страницы его пометками. Было совершенно безнадежно ожидать, чтобы он занялся чем-нибудь серьезно. Когда же матушка пыталась милыми уловками вывести его из состояния покоя, он качал головой с непреклонной кротостью, составляющей силу бесхарактерных людей. Он приводил в отчаянье бедную женщину, неспособную проникнуться такою созерцательною мудростью и в жизни понимавшую

лишь повседневные заботы и радость повсечасного труда. Она считала его больным и опасалась усиления болезни. Но причина его апатии была другая.

---

* …экземпляры Рейналя и Мабли. - Рейналь Гийом (1713 - 1796) - философ и историк, связанный с Просвещением, автор “Философской и политической истории учреждений и торговли европейцев в обеих Индиях”, проникнутой страстным протестом против рабства и колониализма. Мабли (аббат Габриель Бонно; 1709 - 1785) - публицист, близкий к просветителям, утопический коммунист, автор труда “Общественное право в Европе”.

В тысяча восемьсот первом году отец мой, поступив в Морское управление при Декре*, выказал настоящий администраторский талант. В то время морской департамент развивал большую деятельность, и мой отец с тысяча восемьсот пятого года стал начальником второго административного отдела. В этом году император, осведомленный министром об отце, потребовал от него доклад относительно организации английских морских сил. Эта работа, проникнутая, неведомо для министерского редактора, глубоко либеральным и философским духом, была закончена только в тысяча восемьсот седьмом году, приблизительно через полтора года после разгрома адмирала Вильнева при Трафальгаре. Со времени этого злосчастного дня Наполеон и слышать не хотел о кораблях; он гневно перелистал докладную записку и бросил ее в огонь, крикнув: “Слова! Слова! Слова!” Отцу передавали, будто император был так разгневан, что топтал сапогом рукопись в пылающем камине. Впрочем, такая у него была привычка - в раздражении сгребать ногами жар, пока не опалит себе подошвы.

---

* Декре Дени, герцог (1762 - 1820) - французский адмирал, был морским министром Наполеона I. В 1804 г . император готовил морскую флотилию для вторжения в Англию, но французы потерпели поражение при Трафальгаре (1805).

Отец мой так и не мог оправиться от этой немилости, а бесполезность всех его усилий сделать хорошее дело, конечно, и была причиной той апатии, в какую впал он позже. Наполеон, однако, по возвращении с острова Эльбы призвал его и поручил ему составление бюллетеней и прокламаций к флоту в патриотическом и либеральном духе. После Ватерлоо отец мой, скорее опечаленный, чем изумленный, остался в стороне, и его не беспокоили. Но общий приговор гласил, что он якобинец, кровопийца, один из тех людей, с которыми не знаются. Старший брат моей матери, Виктор Мальдан, пехотный капитан, переведенный на половинный оклад в тысяча восемьсот четырнадцатом году, а в тысяча восемьсот пятнадцатом получивший чистую отставку, своим задорным поведением усугублял те неприятности, какие причинило отцу падение империи. Капитан Виктор кричал в кофейнях и на общественных балах, что Бурбоны продали Францию казакам, первому встречному показывал трехцветную кокарду, спрятанную в шляпе за подкладкой, вызывающе ходил с палкой, точеный набалдашник которой отбрасывал тень в виде силуэта императора.

Если вы не видели, сударыня, некоторых литографий Шарле*, то не можете вообразить себе наружность дяди Виктора, когда он, стянутый по талии сюртуком, расшитым брандебурами, с воинским крестом и букетиком фиалок на груди, прогуливался нелюдимым франтом по Тюильрийскому саду.

---

* Шарле Никола-Туссен (1792 - 1846) - рисовальщик и литограф, был

известен сценами из военной жизни.

Праздность и нетерпимость сообщили дурной тон политическим его пристрастиям. Он оскорблял людей, которых заставал за чтением “Котидьен”* или “Белого знамени”, и вынуждал их драться с ним на дуэли. Таким путем он ранил, себе на горе и бесчестье, шестнадцатилетнего мальчика. Словом, мой дядя Виктор - полная противоположность человеку здравомыслящему, а поскольку он каждый божий день являлся к нам завтракать и обедать, то его дурная слава переходила и на наш дом. Мой бедный отец жестоко страдал от выходок своего гостя, но, как человек добрый, не закрывал дверей для капитана, презиравшего его всем сердцем.

____

* “Котидьен” (“quotidienne”; 1792 - 1847) и “Белое знамя” (“drapeau blanc”; 1819 - 1830) - реакционные монархические газеты, связанные с иезуитами и ратовавшие за укрепление власти Бурбонов.

То, что я рассказываю вам, мне стало ясным много позже. Но тогда мой дядя-капитан вызывал во мне самый искренний восторг, и я давал себе слово походить на него в будущем возможно больше. Одним прекрасным утром я, чтобы положить начало сходству, подбоченился и стал ругаться, точно басурман. Моя чудесная мать дала мне оплеуху так проворно, что, прежде чем заплакать, я некоторое время стоял ошеломленный. Вижу до сих пор старое, обитое желтым трипом кресло, за которым я лил в тот день бесчисленные слезы.

Я тогда был человечком совсем маленьким. Однажды утром отец, по своему обычаю, взяв меня на руки, улыбнулся мне с тем ироническим оттенком, который придавал какое-то особое обаяние вечной его кротости. Пока я, сидя у него на коленях, играл его седыми волосами, он говорил мне о вещах, не очень мне понятных, но сильно занимавших меня именно своей

таинственностью. Мне помнится, но, впрочем, без большой уверенности, что в это утро он мне рассказывал о короле Ивето*, как о нем поется в песне. Вдруг мы услышали громкий треск, и наши окна задребезжали. Отец спустил меня с колен; его дрожащие протянутые руки болтались в воздухе, лицо застыло, стало белым, глаза - огромными. Он попытался говорить, но зубы стучали друг о друга. Наконец он смог пробормотать: “Они его расстреляли!” Я не знал, о чем шла речь, и чувствовал какой-то смутный ужас. Позже я узнал, что говорил он о маршале Нее**, который пал седьмого декабря тысяча восемьсот пятнадцатого года у стены, окружавшей пустырь, смежный с нашим домом.

____

* Король Ивето. - Имеется в виду популярная песенка Беранже “Король Ивето”, написанная им в 1813 г . и рисующая добродушного и миролюбивого короля, сатирически противопоставленного Наполеону I.

** Маршал Ней Мишель (1769 - 1815) - один из маршалов Наполеона, был расстрелян за поддержку его во время “Ста дней”.

Около того же времени я на лестнице часто встречал старика (возможно, что он был и не очень стар); его маленькие черные глазки сверкали необычайно живо на смуглом неподвижном лице. Мне он казался неживым или, по крайней мере, живущим иначе, нежели другие. У господина Денона*, куда водил меня отец, я видел мумию, привеченную из Египта; и я искренне воображал, что мумия Денона пробуждалась, когда была одна, выходила из своего золоченого ящика, надевала фрак орехового цвета, пудреный парик и становилась господином де Лесе. Даже и теперь, сударыня, отвергнув это мнение как неосновательное, должен признаться, что господин де Лесе сильно походил на мумию Денона. Этого достаточно, чтобы понять, какой фантастический ужас он мне внушал.

---

* Денон Доминик, барон (1747 - 1825) - французский гравер, при Наполеоне занимал пост главного директора парижских музеев.

На самом деле господин де Лесе был мелкий дворянин и большой философ. Этот ученик Мабли и Руссо кичился отсутствием предубеждений, а такое притязание уже салю по себе являлось большим предубеждением. Я говорю, сударыня, о современнике минувшего века. Боюсь, что не умею быть попятным вам, и уверен, что не могу вас заинтересовать. Все это так от нас далеко! Но я по возможности буду краток. Впрочем, ничего занимательного я не обещал, а ожидать великих приключений в жизни Сильвестра Бонара вы и не могли.

Госпожа де Габри просила меня продолжать, что я и сделал в следующих выражениях:

- Господин де Лесе был резок с мужчинами и учтив с дамами. Он целовал руку у моей матери, не приученной нравами республики и империи к такой любезности. Через него соприкоснулся я с эпохой Людовика Шестнадцатого. Господин де Лесе был географ, и, думаю, никто так не гордился тем, что занимается обликом нашей планеты. При старом режиме он принялся за земледелие по-философски и растратил на это свои поля - все, до единого арпана. Не имея больше ни клочка земли, он завладел всем земным шаром и, основываясь на сообщениях путешественников, составил великое множество карт. Вскормленный чистейшей сутью “Энциклопедии”, он не ограничивался тем, что размещал людей на таком-то градусе, минутах и секундах широты и долготы. Он занялся - увы! - их счастьем. Следует заметить, что все люди, занимавшиеся счастьем народов, делали своих ближних весьма несчастными. Господин де Лесе был роялист-вольтерьянец, - порода довольно распространенная в те времена среди “бывших”. Он был геометром больше д’Аламбера, философом больше Жан-Жака* и роялистом больше Людовика Восемнадцатого. Но любовь его к королю была ничто в сравнении с его ненавистью к императору. Он участвовал в

заговоре Жоржа**, покушавшегося на жизнь первого консула; следствие или не знало о нем, или пренебрегло им, но его не было в числе обвиняемых. Этой обиды он никогда не мог простить Наполеону; он звал его корсиканским людоедом и говорил, что никогда бы не доверил ему и одного полка, - настолько жалким воякой он его считал.

---

* Ампер Жан-Жак (1800 - 1864) - историк и филолог, сын известного физика.

** …в заговоре Жоржа… - Жорж Кадудаль, один из главарей контрреволюционных мятежей периода революции конца XVIII в., организовал в 1800 г . монархический заговор против Наполеона, который тогда еще не был императором и носил титул “первого консула”.

В тысяча восемьсот тринадцатом году господин де Лесе, давно вдовевший, женился, лет пятидесяти пяти, на очень молодой женщине, которую привлек к рисованию географических карт, но она, подарив его дочерью, умерла от родов. В кратковременный период ее болезни за ней ходила моя мать; она же позаботилась о том, чтобы у ребенка было все необходимое. Ребенка нарекли Клементиной.

Это рождение и эта смерть положили начало знакомству моей семьи с господином де Лесе. Выйдя в то время из ребяческого возраста, я стал мрачен и отупел: я лишился пленительного дара чувствовать и видеть, события и вещи больше не увлекали меня той манящей новизной, в которой и состоит очарованье детских лет. Вот почему и не осталось у меня воспоминаний о времени после рождения Клементины; знаю только, что немного месяцев спустя меня постигло такое горе, что мысль о нем еще теперь сжимает мое сердце. Я потерял мать. Великое молчание, великий холод и великий мрак вдруг завладели нашим домом.

Я впал в какое-то оцепенение. Отец отправил меня в лицей, и только там

с большим трудом мне удалось выйти из нравственного столбняка.

В конце концов я оказался не совсем тупицей, и мои преподаватели выучили меня всему, чему хотели, иными словами, немного латинскому и греческому языкам. Я имел дело только с древними. Научился ценить Мильтиада* и восхищаться Фемистоклом**. Сдружился с Квинтом Фабием***, - разумеется, постольку, поскольку для меня была возможна дружба с таким великим консулом. Гордый этими высокими знакомствами, я больше не удостаивал взглядом маленькую Клементину и старого ее отца; к тому же они скоро уехали в Нормандию, причем я даже не соблаговолил поинтересоваться, вернутся ли они.

____

* Мильтиад Младший (v в. до н. э.) - афинский полководец, одержавший победу над персами в сражении при Марафоне, в 490 г . до н. э.

** Фемистокл (v в. до н. э.) - афинский государственный деятель, под руководством которого греческий флот в 480 г . до н. э. одержал победу над персидским в сражении у острова Саламина.

*** Фабий Максим Квинт (ум. в 203 г . до н. э.) - римский полководец, прославившийся в сражениях против карфагенского полководца Ганнибала. Неоднократно избирался консулом.

Однако же они вернулись, сударыня, они вернулись! Силы природы, небесные влияния, таинственные власти, ниспосылающие людям дар любви, вы знаете, как я увидел снова Клементину! Они вошли в наше печальное жилище. Господин де Лесе ходил уже без парика. Несмотря на лысину с косицами седых волос над багровыми висками, все говорило в нем о здоровой старости. Но кто это с ним под руку? Божественное, лучистое создание, озарившее своим присутствием нашу старую поблекшую гостиную, - ведь это же не видение, это Клементина! Говорю поистине: синие глаза ее, глаза, как барвинок, мне показались чем-то

сверхъестественным; и до сих пор я не могу себе представить, чтобы эти две живые драгоценности подверглись тяготам жизни и тленью смерти.

Она немного смутилась, здороваясь с моим отцом, которого не знала. Цвет лица у нее был розоватый, чуть приоткрытые губы улыбались, навевая мечты о бесконечности, - вероятно, потому, что ее улыбка не передавала никакой определенной мысли, а выражала только радость жизни и счастье быть прекрасной. Лицо под розовою шляпкой сияло, как драгоценность в раскрытом ларчике; на ней был кашемировый шарф поверх белого муслинового платья со сборками на талии, а из-под его подола виднелся носок ботинка цвета мордоре… Не улыбайтесь, сударыня, - это моды того времени; и я не знаю, есть ли в теперешних столько простоты, свежести и благонравной прелести.

Господин де Лесе сообщил нам, что навсегда возвращается в Париж, где намерен заняться выпуском исторического атласа, и охотно бы устроился в прежней своей квартире, если она не занята. Мой отец спросил мадемуазель де Лесе, довольна ли она возвращением в Париж. Она была довольна, ибо ее улыбка стала лучезарной. Улыбалась она и окнам, открытым в зеленый, залитый светом сад; улыбалась и бронзовому Марию, сидящему среди развалин Карфагена* над циферблатом наших часов в гостиной; улыбалась старым креслам, обитым желтым трипом, и бедному студенту, не смевшему поднять на нее глаза. Как я полюбил се с этого дня!

---

* …Марию, сидящему среди развалин Карфагена… - Марий (i в. до н. э.) - римский военачальник и консул, противник Суллы. По преданию, скрывался от его преследований среди развалин Карфагена.

Но вот мы уже добрались до Севрской улицы, и скоро будут видны ваши окна. Я очень плохой рассказчик и потерпел бы неудачу, если бы, сверх чаяния, мне вздумалось писать роман. Я долго вас подготовлял к самому рассказу, но передам его лишь в нескольких словах, ибо существует

известная утонченность, особое изящество души, - их может оскорбить старик, самоугодливо распространяясь о любовных чувствах, хотя бы самых чистых. Пройдемте еще несколько шагов по этому бульвару, окруженному монастырями с колокольнями, и пока дойдем мы с вами до той вон - маленькой, рассказ мой будет уже кончен.

Господин де Лесе, узнав, что я кончаю Архивную школу, почел меня достойным сотрудничать в его историческом атласе. Требовалось в последовательном ряде карт установить то, что старик философ называл превратностями царств, начиная с Ноя и кончая Карлом Великим. Голова господина де Лесе являлась складом всех научных заблуждений восемнадцатого века относительно древних времен. В исторической науке я принадлежал к школе новаторов и был в том возрасте, когда плохо умеют притворяться. Присущее старику своеобразное понимание или, вернее, непонимание варварских времен, его упорное желание видеть в глубокой древности честолюбивых государей, лицемерных и жадных прелатов, добродетельных граждан, философов-поэтов и других персонажей, существовавших только в романах Мармонтеля*, ужасно огорчали меня и первоначально вызывали с моей стороны всяческие возражения, несомненно весьма разумные, но совершенно бесполезные, а временами и опасные. Господин де Лесе был очень вспыльчив, а Клементина очень красива. В их обществе я проводил часы мучительные и сладостные. Я был влюблен. Я стал малодушен и скоро уступил всем его требованиям по поводу того исторического и политического облика, какой наша земля, носившая и Клементину, должна была иметь в эпоху Авраама, Менеса и Девкалиона**.

---

* …только в романах Мармонтеля… - Мармонтель Жан-Франсуа (1723 - 1799), французский писатель, близкий к просветителям; ему принадлежат два романа на исторические темы: “Велизарий” и “Инки”, в которых он ставил морально-философские проблемы.

** …в эпоху Авраама, Менеса и Девкалиона - иными словами, в

глубокой древности: Авраам, согласно Библии, - родоначальник еврейского народа; Менес (нач. II тысячелетия до н. э.) - первый фараон, подчинивший своей власти Верхний и Нижний Египет; Девкалион (греч. миф.) - единственный, кто вместе с женой спасся от ниспосланного Зевсом потопа и создал новый род человеческий из камней.

По мере того как мы чертили карты, мадемуазель де Лесе раскрашивала их акварелью. Склонившись над столом, она двумя пальчиками держала кисть; тень от ресниц падала ей на щеку, окутывая полузакрытые глаза чарующею светотенью. Время от времени она поднимала голову, и тогда я видел ее чуть приоткрытый рот. В красоте ее была такая выразительность, что простое дыхание казалось у нее вздохом, а позы, самые обычные, погружали меня в глубокую задумчивость. Любуясь ею, я соглашался с господином де Лесе в том, что Юпитер деспотически царил в гористых областях Фессалии, а Орфей поступил неосторожно, вверяя духовенству преподавание философии. До сих пор не знаю, был ли я малодушным или был героем, когда делал эти уступки упрямому старику.

Мадемуазель де Лесе, надо сказать, не уделяла мне особого внимания. Такое равнодушие мне представлялось настолько справедливым и естественным, что я даже и не думал жаловаться; я страдал от этого, но сам того не сознавая. У меня была надежда: мы дошли только до первого ассирийского царства.

Каждый вечер господин де Лесе приходил к моему отцу пить кофе. Не знаю, что их связывало, ибо трудно встретить две натуры, до такой степени противоположные. Отец мой мало чему дивился и многое прощал. С годами он возненавидел всякие преувеличения. Своим мыслям он придавал множество оттенков и никогда не присоединялся к какому-либо мнению без всевозможных оговорок. Эти привычки осторожного ума выводили из себя старого дворянина, сухого и резкого; причем сдержанность противника нисколько не обезоруживала старика, совсем наоборот. Я чуял опасность. Этой опасностью был Бонапарт. Отец не питал к нему никакой нежности, но, послужив под его началом, не любил, когда его бранили, особенно к выгоде Бурбонам, за которыми он числил кровные обиды. Господин де Лесе, более чем когда-либо легитимист и вольтерьянец*, возводил к Бонапарту начало всех зол, социальных, политических и

религиозных. При таком положении вещей больше всего меня тревожил капитан Виктор. Мой грозный дядя после смерти своей сестры, умевшей сдерживать его, стал окончательно невыносим. Арфа Давида** была разбита, и Саул предался своей ярости. Падение Карла Десятого придало дерзости старику бонапартисту, и он проделывал всякого рода вызывающие штуки. Наш дом, чересчур тихий для него, он посещал уже не так усердно. Но изредка, в часы обеда, он появлялся перед нами весь в цветах, как некий мавзолей. Садясь за стол, он, по обыкновению, ругался во все горло, а между кушаньями хвастался своими любовными успехами былого удальца. По окончании обеда он складывал салфетку епископскою митрой, выпивал полграфинчика водки и торопливо уходил, как человек, испуганный мыслью, что придется провести некоторое время без выпивки, с глазу на глаз со старым философом и молодым ученым. Я чувствовал, что если в один прекрасный день он встретится с господином де Лесе, то все пропало. Этот день настал!

---

* …легитимист и вольтерьянец… - Такое сочетание было возможно потому, что политически умеренная программа Вольтера (“просвещенная монархия”) не противоречила стремлению легитимистов (от франц. legitime - законный) - партии, враждебной Наполеону, - восстановить на французском престоле “законную” династию Бурбонов.

** Арфа Давида. - По библейской легенде, юноша Давид успокаивал игрою на арфе припадки ярости и печали израильского царя Саула.

На сей раз капитана было почти не видно под цветами; он до такой степени походил на памятник во славу подвигов империи, что хотелось надеть ему на каждую руку по венку из иммортелей. Он был необычайно доволен, и первой особой, осчастливленной его хорошим настроением, оказалась кухарка, которую он обнял за талию, когда она ставила на стол жаркое.

После обеда он отодвинул в сторону стоявший перед ним графинчик, сказав, что “прикончит” водку, когда подадут кофе. Я с трепетом спросил его, не угодно ли ему, чтобы кофе подали сейчас же. Дядя Виктор был очень недоверчив и совсем не глуп. Моя стремительность показалась ему подозрительной, ибо он как-то особенно глянул на меня и сказал:

- Терпение, племянничек! Не полковому мальчишке трубить отбой, черт побери! Вы, господин магистр, что-то очень торопитесь увидеть, есть ли у меня на сапогах шпоры.

Было ясно: капитан понял, что мне хотелось удалить его пораньше. Зная дядю, я был уверен, что он останется. Он и остался. В моей памяти запечатлелись малейшие обстоятельства этого вечера. Дядя был особенно весел. Одна мысль, что он здесь в тягость, поддерживала его прекрасное настроение. И, право же, он превосходным солдатским стилем рассказал какую-то историю о монашенке, трубаче и пяти бутылках шамбертена, имевшую, вероятно, большой успех по гарнизонам, но рассказать ее вам я бы не решился, даже если бы и помнил. Когда мы перешли в гостиную, он указал на запущенную каминную решетку и со знанием дела объяснил нам употребление трепеля для полировки меди. О политике ни слова. Он берег силы. Среди развалин Карфагена пробило восемь ударов. Это был час господина де Лесе. Несколько минут спустя господин де Лесе с дочерью вошли в гостиную. Вечер начался как обычно. Клементина села за вышивание у лампы с абажуром, который оставлял в легкой тени ее красивую головку и сосредоточивал освещение на ее пальчиках, отчего они почти светились. Господин де Лесе, заговорив о комете, предсказанной астрономами, развил по этому поводу свои теории, которые при всей своей рискованности свидетельствовали об известной умственной культуре. Мой отец, имевший познания в астрономии, высказал ряд здравых мыслей, закончив своим вечным: “А, впрочем, как знать?” Я, со своей стороны, привел мнение нашего соседа из обсерватории - великого Араго*. Дядя Виктор утверждал, что кометы влияют на качество вин, в подтверждение чего рассказал одну веселую трактирную историю. Я был так доволен этим разговором, что с помощью недавно мной прочитанного изо всех сил старался поддержать его, пространно разбирая химический состав легких созвездий, которые рассеяны в небесном пространстве на миллиардах километров, но могли бы уместиться в одной бутылке. Отец, немного удивленный моим красноречием, поглядывал на меня с обычной благодушной иронией. Но нельзя же пребывать все время в небесах. Глядя

на Клементину, я заговорил о комете из алмазов, которой я накануне любовался в витрине ювелира. На этот раз меня осенило невпопад.

---

* …соседа из обсерватории - великого Араго. - Имеется в виду известный физик Доминик-Франсуа Араго (1786 - 1853).

- Племянник! - воскликнул капитан Виктор. - Твоя комета ничто в сравнении с кометой, сверкавшей в волосах императрицы Жозефины, когда императрица приехала в Страсбург раздавать армии кресты.

- Эта маленькая Жозефина весьма любила украшения, - сказал господин де Лесе между двумя глотками кофе. - Я не корю ее за это: невзирая на легкомыслие, в ней было кое-что хорошее. Она ведь из Ташеров и оказала Буонапарте большую честь, выйдя за него замуж. Ташеры - не бог весть что, но Буонапарте - совсем ничто.

- Что вы хотите этим сказать, маркиз? - спросил капитан Виктор.

- Я не маркиз, - сухо ответил де Лесе. - А хочу сказать, что Буонапарте было бы весьма под стать жениться на одной из людоедок, описанных капитаном Куком в своем “Путешествии”, - голых, татуированных, с кольцом в ноздрях, с наслаждением пожирающих гнилое человеческое мясо.

”Я это предвидел”, - подумал я и в этой мучительной тревоге (о, жалкое человеческое сердце!) прежде всего отметил верность моего предвидения. Должен сказать, что капитан ответил в высоком стиле. Он подбоченился, окинул господина де Лесе пренебрежительным взглядом и произнес:

- Кроме Жозефины и Марии-Луизы, господин видам, у Наполеона была еще одна жена. Эту подругу его вы не знаете, а я видал ее вблизи, - на ней лазурная, усеянная звездами мантия и венок из лавров, а на груди сверкает

почетный крест: ей имя - Слава.

Господин де Лесе поставил свою чашку на камин и спокойно произнес:

- Ваш Буонапарте - потаскун.

Отец мой неторопливо встал, тихо поднял руку и очень мягко сказал господину де Лесе:

- Каков бы ни был человек, умерший на острове Святой Елены, я десять лет работал в его правительстве, а мой шурин трижды ранен под его орлами. Умоляю вас, милостивый государь и друг мой, впредь этого не забывать.

Что оказалось невозможным для выспренней и шутовской заносчивости капитана, то совершило вежливое увещание отца; оно повергло господина де Лесе в неистовую ярость.

- Я забыл, моя вина! - воскликнул он, бледный, стиснув зубы и с пеною у рта. - Селедочный бочонок всегда пахнет селедкой, и когда послужишь проходимцам…

При этих словах капитан схватил его за горло. Думаю, что он бы задушил его, не будь здесь дочери и не будь меня.

Отец мой, скрестивши руки и более бледный, чем обычно, смотрел на это зрелище с несказанным выражением жалости. То, что последовало, было еще плачевнее. Но к чему останавливаться на безумстве двух стариков? В конце концов мне удалось разнять их. Господин де Лесе сделал знак дочери и вышел. Когда она пошла за ним, я бросился по лестнице ей вслед.

- Мадемуазель, - сказал я, не помня себя и сжимая ее руку, - я люблю вас! Люблю!

На секунду она задержала мою руку в своей; рот ее чуть приоткрылся. Что собиралась она сказать? Но вдруг, подняв глаза на своего отца, всходившего на следующий этаж, она освободила свою руку и распрощалась, кивнув мне головой.

После этого я ее уже никогда больше не видел. Ее отец переехал к Пантеону, в квартиру, нанятую для продажи исторического атласа. Там он и умер несколько месяцев спустя от апоплексического удара. Дочь вернулась к родным в Невер. В Невере она вышла замуж за сына богатого крестьянина, Ашиля Алье.

Я же, сударыня, прожил жизнь тихо, наедине с самим собой; мое существование, без больших радостей и без больших страданий, было довольно счастливо. Но с давних пор зимой, по вечерам, я не могу не чувствовать щемящей боли в сердце, когда сижу у себя и вижу рядом другое, никем не занятое кресло. Давно умерла Клементина. За нею следом ушла и дочь ее в вечный покой. У вас я видел внучку. Пока еще не стану говорить, как некогда сказал библейский старец: “Господи, ныне призови к себе раба твоего”. Если старичок вроде меня и может оказаться кому-нибудь полезен, так только этой сироте, которой я намерен посвятить, при вашей помощи, остаток своих сил.

Последние слова я произнес в передней у де Габри и уже собирался попрощаться с милой спутницей, но в это время она сказала:

- Дорогой мой, в этом я не могу помочь вам так, как бы хотела. Жанна сирота и несовершеннолетняя. Вы ничего не можете для нее сделать без разрешения ее опекуна.

- Ах, - воскликнул я. - Мне и в голову не приходило, что у Жанны есть опекун.

Госпожа де Габри взглянула на меня с некоторым изумлением - такой наивности у старика она не ожидала. Госпожа де Габри мне пояснила:

- Опекун Жанны Александр - господин Муш, нотариус в Леваллуа-Перэ. Боюсь, что сговориться с ним вам будет нелегко, - он человек серьезный.

- Боже мой! С кем же, по-вашему, мне, в моем возрасте, сговариваться, как не с серьезными людьми?

Она улыбнулась, как мой отец, кротко и лукаво, говоря:

- С теми, кто похож на вас. А господин Муш далеко не из таких людей; он не внушает мне доверия. Вам надо будет попросить у него разрешения

навещать Жанну, так как он отдал ее в частный пансион в районе Терн, где ей живется не очень хорошо.

Я поцеловал руку у г-жи де Габри, и мы расстались.

Со 2 по 5 мая.

Опекуна Жанны, мэтра Муша, я повидал в его конторе: маленький, тощий и сухой; цвет лица пыльный, как его бумаги. Это - животное очковое, ибо без очков нельзя его себе представить. Я слышал мэтра Муша: у него трескучий голос, и говорит он, подбирая выражения; но было бы гораздо лучше, если бы он их не подбирал. Я наблюдал за мэтром Мушем: он церемонен и украдкой из-за очков приглядывает за своими служащими.

Мэтр Муш счастлив, восхищен - так он сказал мне - моим участием к его питомице. Но он думает, что на земле живут не для забавы. Да, так он думает. Ради справедливости скажу, что, сидя с ним, держишься того же мнения, - так мало занимателен он сам. Он боится, что, доставляя его питомице слишком много удовольствий, ей внушат ложное и пагубное представление о жизни. Вот почему он упрашивал г-жу де Габри брать эту юную девицу к себе лишь в редких случаях.

Я расстался с пыльным нотарием и его пыльной конторой, получив разрешение узаконенного образца (все исходящее от нотариуса Муша - узаконенного образца): в первый четверг каждого месяца посещать мадемуазель Жанну Александр в пансионе Префер, по улице Демур, в районе Терн.

В первый же четверг мая я направился к мадемуазель Префер, чье заведение мне указала еще издали вывеска синими буквами. Синий цвет был первой приметой характера мадемуазель Виргинии Префер, а изучить его в полном объеме я имел случай позже. Оробелая служанка взяла мою визитную карточку и, не подав слова надежды, бросила меня в холодной приемной, где я вдыхал приторный запах, свойственный столовым учебных заведений. Пол в приемной был навощен с такою беспощадною

старательностью, что я в унынии решил остаться у порога; но, по счастью, заметил шерстяные квадратики, разложенные на паркете перед волосяными стульями, - и мне удалось, переступая с одного коврового островка на другой, добраться до камина, где я и сел, совсем запыхавшись.

На камине, в большой золоченой раме, стояла таблица с заголовком витиеватой “готикой”: Почетная доска , - но в числе многих имен, написанных на ней, я не имел удовольствия встретить имя Жанны Александр. Перечитав несколько раз имена учениц, заслуживших похвалу мадемуазель Префер, я забеспокоился, не слыша никаких шагов. В своих педагогических владеньях мадемуазель Префер, наверное, достигла бы абсолютной тишины небесных сфер, если бы не бесчисленные стаи воробьев, облюбовавших ее двор как место сбора, чтобы там чирикать сколько влезет. Приятно было слышать их. Но скажите на милость, как их увидеть сквозь матовые стекла? Приходилось ограничивать себя зрелищем приемной, украшенной по всем четырем стенам сверху донизу рисунками пансионерок. Здесь были хижины, цветы, весталки, капители, завитки и непомерная голова сабинского царя Тация, подписанная: “Этель Мутон”.

Довольно долго я дивился той энергии, с какою выделила мадемуазель Мутон чащу бровей и свирепые очи древнего воителя, но вдруг слабый шорох, слабее шороха опавшего листка, скользящего по ветру, заставил меня обернуться. Правда, это был не опавший лист, а… мадемуазель Префер. Сложив руки, она скользила по зеркальной поверхности паркета, как некогда святые девы Златой легенды по хрустальной глади вод. Но при других условиях мадемуазель Префер, я думаю, не вызвала бы у меня представления о девах, любезных душе мистика. Лицом она напомнила мне яблоко, хранившееся всю зиму на чердаке запасливой хозяйки. Накинутая на плечи пелерина с бахромой сама собой не представляла ничего особенного, но мадемуазель Префер ее носила так, словно то была священная одежда или знак отличия высоких должностей.

Я объяснил цель своего визита и вручил ей разрешение.

- Вы виделись с господином Мушем? - сказала она. - Он в добром здравии? Это такой почтенный человек, такой…

Она не кончила и устремила взор к потолку. Мой взор направился вслед и натолкнулся на бумажную спиральку в виде кружев, подвешенную на

месте люстры и, по моим соображениям, предназначенную приманивать мух, а тем самым отвлекать их от золоченых рам Почетной доски и зеркала.

- Встретившись с мадемуазель Александр у госпожи де Габри, - сказал я, - я имел возможность оценить прекрасный характер и живой ум этой девушки. Когда-то я был знаком с ее дедом и бабкой и склонен ту симпатию, какую внушали они мне, перенести и на нее.

Вместо ответа мадемуазель Префер, глубоко вздохнув, прижала к сердцу таинственную пелерину и снова углубилась в созерцание бумажной спирали.

Наконец она сказала:

- Если вы знали супругов Ноэль Александр, то мне хочется думать, что вы, так же как я и господин Муш, горько сожалеете о безумных спекуляциях, которые довели их до разорения, а дочь - до нищеты.

При этих словах я подумал, что быть несчастным - великий грех и что его не прощают тем, кто долго был предметом зависти. Их падение и мстит за нас и льстит нам, а мы безжалостны.

Я признался наставнице со всею откровенностью, что совершенно чужд финансовым делам, и спросил, довольна ли она мадемуазель Александр.

- Это ребенок без узды! - воскликнула мадемуазель Префер.

И она приняла позу, указанную высшей школой верховой езды, изображая символически то положение, какое создает ей ученица, так трудно поддающаяся дрессировке; затем, вернувшись к чувствам более спокойным, продолжала:

- Девочка не глупа. Но не может заставить себя приобретать знания на основе нравственных принципов.

Что за странная особа эта мадемуазель Префер! Ходит она, не поднимая ног, а говорит, не двигая губами. Не задерживая своего внимания на этих особенностях, я ответил, что, конечно, принципы - вещь отличная, и в этом отношении я полагаюсь на ее просвещенность, но в конечном счете, раз

человек усвоил знание чего-либо, не все ли равно, каким путем он этого достиг.

Мадемуазель Префер тихо покачала головой. Затем, вздохнув, сказала:

- Ах, господин Бонар, люди, чуждые делу воспитания, имеют о нем весьма ложные понятия. Я верю, что говорят они с самыми добрыми намерениями, но они поступили бы лучше, гораздо лучше, когда бы положились в этом на компетентных лиц.

Я не упорствовал и спросил ее, могу ли я теперь же увидеть мадемуазель Александр.

Она рассматривала пелеринку, словно отыскивая в сплетеньях бахромы, как в книге для гаданий, нужный ей ответ, и наконец сказала:

- Мадемуазель Александр сейчас будет репетировать других. Здесь старшие учат младших. Это называется взаимным обучением… Но я бы очень сожалела, если бы вы обеспокоили себя напрасно. Я велю ее позвать. Разрешите только, для порядка, вписать ваше имя в книгу посетителей.

Она села к столу, раскрыла толстую тетрадь и, вытащив из-под пелерины письмо мэтра Муша, которое она туда засунула, начала писать, спросив:

- Бонар, одно “р”, не правда ли? Простите, что останавливаюсь на этой подробности. Но мое мнение, что у собственных имен своя орфография. Здесь пишут диктанты на имена собственные… имена исторические, разумеется.

Вписав ловкою рукою мое имя, она спросила, не может ли к нему прибавить какое-нибудь звание, вроде - бывший коммерсант, чиновник, рантье или что-либо подобное. В ее списке имелась графа для званий.

- Боже мой! Уж если вы, мадемуазель, хотите непременно заполнить эту графу, поставьте: академик.

Я видел перед собой все ту же пелеринку мадемуазель Префер, но той мадемуазель Префер, которая была в нее одета, вдруг не стало. Это была другая личность - приветливая, ласковая, милая, сияющая счастьем. Глаза ее улыбались, улыбались и морщинки на лице (в большом количестве),

улыбался рот, но лишь одним углом. Она заговорила: голос был под стать ее виду - он сделался медовый:

- Так вы сказали, что наша милая Жанна очень умна? Я это сама заметила и горжусь тем, что наши мнения сошлись. Эта девица внушает мне поистине большой интерес. Правда, она немного резва, но у нее есть то, что я зову счастливым характером. Впрочем, извините, что я злоупотребляю вашим драгоценным временем.

Она позвонила, вошла служанка, больше прежнего растерянная и оробелая, и затем исчезла, получив распоряжение уведомить мадемуазель Александр, что г-н Бонар, академик, ждет ее в приемной.

Мадемуазель Префер едва успела мне признаться, что проникнута глубоким уважением ко всем без исключения постановлениям Академии, как вошла Жанна, - запыхавшись, красная, словно пион, широко раскрыв глаза и болтая руками, - очаровательная в своей наивной угловатости.

- В каком вы виде, милое дитя! - с материнской нежностью посетовала мадемуазель Префер, оправляя ей воротничок.

Действительно, вид у Жанны был довольно чудной. Волосы, зачесанные назад, выбивались из-под сетки; худые руки, запрятанные до локтей в люстриновые рукава, красные, обмороженные кисти рук, видимо стеснявшие ее; чересчур короткое платье, не закрывавшее слишком широких чулок и стоптанных ботинок; веревочка для прыганья, завязанная вместо пояса вокруг талии, - все это делало Жанну девицей мало представительной.

- Баловница! - вздохнула мадемуазель Префер, на этот раз приняв вид уже не матери, а старшей сестры.

Затем она исчезла, скользя по паркету, точно призрак.

Я обратился к Жанне:

- Сядьте, Жанна, и поговорите со мной как с другом. Вам здесь не нравится?

Она замялась, потом с покорной улыбкой ответила:

- Не очень.

Держа в руках концы веревочки, она молчала.

Я спросил ее, неужели она, такая большая, все еще прыгает через веревочку.

- О нет! - торопливо ответила она. - Когда служанка сказала, что меня ждет какой-то господин, я учила малышей прыгать. А веревочку я обвязала вокруг талии, чтобы не потерять. Это неприлично. Извините меня, пожалуйста. Но я так не привыкла принимать посетителей!

- Боже праведный! Почему ваша веревочка могла бы оскорбить меня? Монахини ордена святой Клары подпоясывались веревкой, а это были святые девы.

- Вы очень добры, что пришли меня проведать и говорите со мною так. Я забыла поблагодарить вас, когда вошла, но я уж очень была удивлена. Давно ли вы видели мадам де Габри? Будьте так добры, расскажите мне о ней.

- Госпожа де Габри здорова, - ответил я. - Она в своем прекрасном люзанском имении. Могу о ней сказать вам, Жанна, то, что отвечал старый садовник, когда справлялись у него о владелице замка, его хозяйке: "Барыня на своем пути". Да, госпожа де Габри на своем пути. Вы, Жанна, знаете, насколько этот путь хорош и каким ровным шагом она идет по нему. Недавно, до отъезда ее в Люзанс, я был с ней далеко, очень далеко, и говорили мы о вас. Мы говорили о вас, дитя мое, на могиле вашей матери.

- Мне очень приятно, - сказала Жанна.

И она заплакала.

Я не мешал девичьим слезам из уваженья к ним. Затем, пока она вытирала себе глаза, я попросил рассказать, как ей живется в этом доме.

Я узнал, что она одновременно и ученица и наставница.

- И вам приказывают, и вы приказываете. Такое положение вещей встречается нередко в жизни. Претерпите его, дитя мое.

Но из ее слов я понял, что ни ее не учили, ни она не учила, а на ее обязанности лежало одевать детей младшего класса, умывать их, учить благоприличию, азбуке, шитью, устраивать им игры и после молитвы укладывать их спать.

- Ах, вот что мадемуазель Префер называет взаимным обученьем! - воскликнул я. - Не могу скрыть от вас, Жанна, что мадемуазель Префер мне совсем не нравится, - хотелось бы, чтобы она была добрее.

- О! Она такая же, как большинство людей, - ответила Жанна. - Хороша с теми, кого любит, и плоха с теми, кого не любит. Но меня-то, думается, она не очень любит, .

- А господин Муш? Что он собою представляет, Жанна? Она поспешно ответила:

- Умоляю, не говорите со мной о нем. Умоляю.

Я внял этой горячей, почти строгой просьбе и переменил тему разговора.

- Вы продолжаете и здесь лепить из воска? Я не забыл феи, которая так поразила меня в Люзансе.

- У меня нет воска, - ответила она, уронив руки.

- Нет воска в пчелином царстве! - воскликнул я. - Я принесу вам воску всех цветов, прозрачного, как драгоценные камни.

- Благодарю вас, сударь, но не делайте этого. Здесь у меня нет времени лепить куклы. Правда, я начала маленького святого Георгия для госпожи де Габри, совсем маленького, в золоченом панцире; но малыши приняли его за куклу, стали им играть и разломали на кусочки.

Она вынула из кармана передника фигурку с вывороченными руками и ногами, которые едва держались на проволочном каркасе. Это зрелище и веселило и печалило ее; веселость взяла верх, и Жанна улыбнулась, однако ее улыбка вдруг замерла.

В дверях приемной с любезным видом стояла мадемуазель Префер.

- Милая деточка! - вздохнув, произнесла нежным тоном начальница пансиона. - Боюсь, что она вас утомляет. Кроме того, минуты ваши драгоценны.

Я попросил ее отбросить эту иллюзию и, встав, чтобы проститься, вынул из карманов несколько плиток шоколада и другие сласти, принесенные с собой.

- О, - воскликнула Жанна, - тут хватит на весь пансион!

Дама в пелерине вмешалась.

- Мадемуазель Александр, поблагодарите же господина Бонара за его щедрость.

Жанна довольно угрюмо посмотрела на нее, затем, обернувшись ко мне, сказала:

- Благодарю вас, господин Бонар, за лакомства, а в особенности за то, что вы были так добры и навестили меня.

- Жанна, - сказал я, пожимая ей обе ручки, - оставайтесь хорошей девочкой и не падайте духом. До свиданья!

Уходя с пакетиками печенья и шоколадом, она нечаянно стукнула ручками скакалки о спинку стула. Возмущенная мадемуазель Префер прижала под пелеринкой обе руки к сердцу, и я уже готовился увидеть, как отлетит ее схоластическая душа.

Когда мы остались одни, к ней вернулось ясное спокойствие, и должен сказать, не льстя себе, что она мне улыбнулась широкою улыбкой.

- Мадемуазель, - сказал я, пользуясь ее добрым настроением, - я заметил, что Жанна Александр несколько бледна. Вы лучше меня знаете, сколь бережного, внимательного отношения требует переходный возраст, в каком она находится. Я бы вас обидел, если бы стал поручать ее вашим заботам более настойчиво.

Эти слова, казалось, восхитили ее. Она самозабвенно уставилась в спираль на потолке и, молитвенно сложив руки, воскликнула:

- Как великие люди умеют снисходить до самых мелочей!

Я ей заметил, что здоровье девушки - не мелочь, и откланялся. Но она меня остановила на пороге и доверительно сообщила:

- Простите мою слабость. Я женщина - и тщеславна. Не могу скрыть от вас, какою честью считаю для себя присутствие члена Академии в моем скромном учебном заведении.

Я простил слабость мадемуазель Префер и, в эгоистическом ослеплении, думая только о Жанне, всю дорогу задавал себе вопрос: “Как нам быть с этим ребенком?”

2 июня.

Сегодня я проводил на Марнское кладбище своего старинного и уже дряхлого коллегу, согласившегося умереть, как говорил Гете. Великий Гете, отличаясь необычайной жизненной силой, был убежден, что умирают лишь тогда, когда этого хотят, - то есть когда силы, сопротивляющиеся конечному распаду, совокупность которых и есть жизнь, оказываются разрушенными все до единой. Другими словами, он думал, что умирают тогда, когда уже не могут больше жить. Прекрасно! Дело только во взаимном понимании, и превосходная мысль Гете, если в нее вникнуть, сведется к песенке о Ля Палисе*.

____

* …сведется к песенке о Ля Палисе. - Во французской народной песенке о господине Ля Палисе, убитом в сражении при Павии в 1525 г ., поется:$Минут за десяток до смерти, $Ей-богу, он был живой!$ Эти строчки вошли в поговорку, как комическое выражение прописной истины.

Итак, мой славный коллега согласился умереть благодаря убедительности двух или трех апоплексических ударов, из коих последний не вызвал никаких возражений. При его жизни я мало с ним общался, но, видимо, когда его не стало, я оказался его другом, ибо наши коллеги с проникновенными лицами и веско заявили мне, что я должен держать шнур покрова и говорить речь на могиле.

Очень плохо прочтя маленькую речь, написанную мной насколько можно лучше, - что еще не значит хорошо, - я отправился гулять по рощам Виль-д’Авре, и, даже не очень крепко опираясь на палку капитана, шел по затененной деревьями тропинке, куда дневной свет падал золотыми дисками. Никогда еще запах травы и влажных листьев, никогда еще красота неба и могучее спокойствие деревьев не волновали так глубоко моих чувств, всей души, и среди этой тишины, звеневшей каким-то непрестанным тонким звоном, я ощущал томление и чувственное и благочестивое.

Я сел под купой молодых дубков. И здесь я дал себе обет не умирать или, по крайней мере, не соглашаться умирать раньше, чем вновь не посижу под дубом, среди деревенского покоя и простора, где стану размышлять о природе души и о конечных целях человека. Пчела с коричневым тельцем, сверкавшим на солнце, как темно-золотой доспех, уселась на сумрачно-великолепный цветок мальвы, широко раскрывшийся на пушистом стебельке. Разумеется, столь обычное зрелище я видел не впервые, но в первый раз я наблюдал его с такою благожелательной и сочувственной любознательностью. Я приметил, что между насекомым и цветком существует полная взаимосклонность и множество замысловатых отношений, каких до сей поры я даже не предполагал.

Пчела, напившись нектара, опять куда-то устремилась смелым лётом. Я с трудом поднялся и размял ноги.

- Прощайте! - сказал я пчеле и цветку. - Прощайте! О, если бы я мог еще пожить, чтобы проникнуть в тайну ваших гармоничных отношений. Я очень утомлен. Но человек так создан, что отдыхает от одной работы, лишь взявшись за другую. Цветы и насекомые, коль будет на то божья воля, дадут мне отдохнуть от филологии и дипломатики. Сколько мудрости в

древнем мифе об Антее. Я коснулся земли - и я стал новым человеком, и в шестьдесят восемь лет желанья новых знаний рождаются в моей душе, как на дуплистом кряже старой ивы пушатся новые побеги.

4 июня.

В такие нежно-серые утра, окутывающие все предметы какой-то бесконечной прелестью, я люблю смотреть из своего окна на Сену и ее набережные. Я видал лазурное небо, в светозарной ясности раскинувшееся над Неаполитанским заливом. Но наше небо, небо Парижа, - более оживлено, благожелательно и одухотворено: как человеческий взгляд, оно то улыбается, то угрожает, то ласкает, то становится грустным, то веселым. Сейчас оно льет мягкий свет и на людей и на животных, свершающих в Париже свой каждодневный трудовой урок. Вдали, на противоположном берегу, грузчики у пристани Святого Николая выгружают бычьи рога, а подносчики, выстроясь в ряд на сходнях, непринужденно перебрасывают с рук на руки сахарные головы до трюма парохода. На северной набережной извозчичьи лошади вытянулись линией в тени платанов и, уткнувшись мордами в торбочки, спокойно жуют овес, пока их краснолицые кучера пропускают стаканчик у стойки виноторговца, высматривая утреннего седока.

Букинисты выносят свои ящики на парапет. Эти славные торговцы духовной пищей, все время живущие на воле, в развевающихся по ветру блузах, так хорошо обработаны воздухом, дождями, заморозками, туманами, снегами и палящим солнцем, что стали похожи на старинные соборные статуи. Все они - мои друзья, и, проходя мимо их ящиков, я не премину вытащить оттуда книжку, какой у меня не было, хоть я и не подозревал, что ее мне не хватает.

Возвратившись домой, я слышу крики Терезы, обвиняющей меня в том, что я всё рву карманы, а дом набиваю старой бумагой и привлекаю этим крыс. На этот счет Тереза рассудительна; и именно потому, что она рассудительна, я не слушаюсь, ибо, несмотря на свой спокойный вид, всегда предпочитал безрассудство страстей мудрости бесстрастия. Но

поскольку мои страсти не из числа тех, какие вспыхивают, опустошают и убивают, толпа не видит их. А все-таки они меня обуревают, и не раз случалось, что из-за нескольких страниц, написанных неведомым монахом или отпечатанных скромным учеником Петера Шефера*, я терял сон. И если это благородное горение во мне угасает, то лишь потому, что и сам я мало-помалу угасаю. Наши страсти - это мы. Мои старинные книги - это я. Я стар и ссохся, как они.

---

* Петер Шефер (xv в.) - немецкий типограф, помощник Иоганна Гутенберга.

Легкий ветерок метет вместе с уличной пылью крылатые семена платанов и былинки сена, избежавшие лошадиного рта. Эта пыль - пустяк, конечно, но, видя, как она клубится, я вспоминаю, что в детстве смотрел на вихри такой же пыли, - и душа старого парижанина взволнована. Все то, что открывается передо мной из моего окна: слева - горизонт, доходящий до холмов Шайо, благодаря чему я вижу Триумфальную арку словно каменную глыбу, и Сену - реку славы, и ее мосты, и липы на террасе Тюильри, и расчеканенный, как драгоценность, Лувр эпохи Ренессанса, а справа, к Новому мосту (Pons Lutetiae Novus dictus, как читаешь на старых гравюрах) - древний и глубокочтимый Париж с его шпилями, башнями, - все это моя жизнь, это я сам; и я был бы ничем без всех этих вещей, что отражаются во мне тысячью оттенков моей мысли, животворят меня и вдохновляют. Вот почему я люблю Париж любовью безграничной.

А все-таки я утомлен и чувствую, что отдых невозможен в этом городе, который столько думает, научил думать и меня и постоянно заставляет думать. Как не волноваться среди всех этих книг, раз они будят и утомляют любознательность, не давая ей удовлетворенья? То надо разыскать какую-нибудь дату, то установить точное местонахождение какого-нибудь селения или узнать, что в сущности обозначает такой-то очень интересный старинный термин. Слова?.. Ну да! Слова. Я филолог и, следовательно, их

владыка; а они - мои подданные; и, как хороший государь, я отдаю им свою жизнь. Но разве мне нельзя когда-нибудь отречься? Мне видится, что где-то, далеко отсюда, на опушке леса, стоит домик, где я найду необходимый мне покой до той поры, когда я буду объят иным покоем, более великим и на сей раз непреложным. Я мечтаю о скамейке у порога и о полях, полях - куда ни глянет глаз. Но хорошо, если бы там, рядом со мной, мне улыбалось свеженькое личико, отражая и сосредоточивая в себе всю окружающую свежесть; я буду думать, что я дедушка, и пустота в моей жизни заполнится.

Я человек не злой, однако раздражаюсь я легко, и все мои работы доставляли мне не меньше огорчений, чем радостей. Не знаю, как случилось, но в это время я подумал о той весьма неосновательной и не стоящей внимания дерзости, какую допустил по отношению ко мне три месяца тому назад мой юный друг в Люксембургском саду. Я называю его другом не иронически, ибо люблю прилежную молодежь со всеми ее заблуждениями и дерзновеньями. Но все же юный друг мой преступил границы. Великий учитель Амбруаз Паре*, заставший хирургию в руках цирюльников и шарлатанов, первый начал перевязывать артерии и поднял хирургию до современной высоты, но в старости подвергся нападкам всех лекарских учеников, едва умевших держать ланцет. Оскорбительно вызванный к ответу молодым ветреником, который, возможно, был прекрасным сыном, но не умел уважать других, старый учитель ответил юноше в своем трактате “О мумии, о единороге, о ядах и чуме”. “Прошу его, - сказал великий ученый, - прошу, если у него имеются какие-либо возражения на мой ответ, пусть он отбросит злобу и мягче поступает с добрым стариком”. Этот ответ, вышедший из-под пера Амбруаза Паре, изумителен; но, исходи он от деревенского костоправа, поседевшего в работе и осмеянного каким-нибудь юнцом, ответ такого рода тоже был бы достоин похвалы.

---

* Амбруаз Паре (1517 - 1590) - знаменитый в свое время французский хирург, прославился применением при ампутациях лигатуры для перевязки

сосудов вместо принятого ранее прижигания раны.

Могут подумать, что я припомнил это только по мелкому злопамятству. Я сам подумал так и осудил себя за то, что привязался к мнению юнца, не отдающего себе отчета в своих словах. Но, к счастью, размышления мои на эту тему приняли иное направление, - и только из-за этого я и заношу их в свою тетрадь. Мне вспомнилось, как в том же Люксембургском саду я, на двадцатом году жизни (тому почти полвека), гулял с несколькими товарищами. Мы говорили о наших старых учителях, и кто-то случайно упомянул Пти-Раделя*, почтенного ученого, который впервые бросил некоторый свет на происхождение этрусков, но имел несчастье составить хронологическую таблицу любовников Елены. Таблица эта нас очень насмешила, и я воскликнул: “Пти-Радель дурак не в пяти буквах, а в двенадцати томах”.

____

* Пти-Радель Луи-Шарль (1756 - 1836) - французский археолог.

Такого рода юношеские речи слишком легковесны, чтобы тяготить совесть старика. О, если бы и в битве жизни мне было суждено пускать лишь столь же невинные стрелы. Но сегодня я задаю себе вопрос: что, если и я за время своей жизни совершил, сам того не подозревая, нечто такое же смешное, как хронологическая таблица любовников Елены? Вследствие прогресса знаний становятся ненужными те самые работы, которые больше всего способствовали этому прогрессу. Поскольку эти работы уже не приносят явной пользы, молодежь искренне думает, что они никогда ничем и не были полезны, она пренебрегает ими; и стоит ей найти в них слишком устарелую идею, чтобы она осмеяла всё. Вот почему я в двадцать лет подтрунивал над Пти-Раделем и его таблицей любовной хронологии; вот почему вчера в Люксембургском саду мой юный и непочтительный друг…

Октавий, рассуди*, уместен ли твой ропот:

____

* Октавий, рассуди… - реплика Октавиана Августа из трагедии Корнеля “Цинна” (1641).

За что щадить того, кто беспощаден сам!

6 июня.

Был первый четверг июня. Я закрыл книги и распростился со святым аббатом Дроктовеем, полагая, что он вкушает райское блаженство и не особенно торопится увидеть свое имя и подвиги прославленными здесь, на земле, в скромной компиляции, вышедшей из-под моего пера. Сказать ли?.. Мальва и посетившая ее пчела, замеченные мной на прошлой неделе, влекут меня сильнее, чем все старинные митрофорные аббаты. Еще сегодня Тереза изловила меня на том, что я рассматриваю в лупу цветы левкоев, стоявших на кухонном окне. В книге Шпренгеля*, прочитанной мною в дни ранней юности, когда я читал всё без разбору, есть несколько соображений о любви цветов; и вот теперь, после полувекового забвенья, они приходят мне на ум, пробуждая во мне такую любознательность, что я с грустью думаю, зачем не посвятил скромных своих способностей изучению насекомых и растений.

____

* Шпренгель Христиан Конрад (1750 - 1816) - немецкий ученый-ботаник, автор труда “Открытие тайны строения и плодоношения цветов” (1793).

Так размышлял я, отыскивая галстук. Но, тщетно перерыв множество ящиков, я призвал на помощь Терезу. Она явилась, ковыляя.

- Сударь, надо было сказать мне, что вы уходите, я бы и подала вам галстук.

- А не лучше ли, Тереза, класть его в такое место, где бы я мог его найти без вашей помощи?

Тереза не удостоила меня ответом.

Тереза не оставляет больше ничего в моем распоряжении. Чтобы получить носовой платок, я должен обращаться к ней, а поскольку она глуха, немощна и, сверх того, совсем теряет память, я изнываю от этих постоянных недостач. И в то же время она злоупотребляет своей домашней властью с такой невозмутимой гордостью, что у меня не хватает мужества совершить государственный переворот против правительницы моих шкафов.

- Галстук, Тереза! Слышите вы? Галстук! А если вы доведете меня до отчаяния еще новой проволочкой, то мне понадобится не галстук, а веревка, чтобы повеситься.

- Значит, вы очень торопитесь? Вашему галстуку деваться некуда. У нас ничто не пропадает, потому как я слежу за всем. Только дайте время его найти.

”Так вот результат полувековой преданности! - подумал я. - Ах, если бы неумолимая Тереза, на мое счастье, хотя бы раз. один раз в жизни, нарушила свои служебные обязанности, если бы хоть на минуту провинилась - она не забрала бы такой неколебимой власти надо мною, и я бы смел, по крайней мере, ей противиться. А можно ли противиться

добродетели? Страшны люди, не имеющие слабостей: к ним не подступишься. Вот вам Тереза: ее не на чем поймать, ни одного порока. У нее нет сомнения ни в самой себе, ни в боге, ни в окружающем. Это крепкая женщина, евангельская мудрая дева*, и если она неведома людям, то хорошо знакома мне. Она мне представляется держащей лампу - простую лампу, какая светит под балкой деревенской крыши, и эта лампа не угаснет никогда в ее протянутой руке - тощей, крепкой, искривленной, как виноградная лоза".

---

* …евангельская мудрая дева… - намек на евангельскую притчу о девах разумных и девах неразумных: первые держат в руках зажженные светильники - символ добродетели, а вторые - опрокинутые светильники.

- Тереза, галстук! Несчастная, разве вы не знаете - сегодня первый четверг июня, и меня ждет мадемуазель Жанна. Хозяйка пансиона, конечно, приказала натереть в приемной пол; я уверен, что сейчас в него можно смотреться, и когда я там переломаю себе кости, а этого не миновать, - то я стану развлекаться, рассматривая в нем, как в зеркале, свой грустный лик; но, взяв за образец милого и удивительного героя, изображенного чеканью на палке дяди Виктора, я постараюсь явить душу стойкую и лицо веселое. Полюбуйтесь этим ярким солнцем. Оно позолотило набережные, и Сена улыбается в сиянии бесчисленных морщин. Город в золоте; желтоватая пыль колышется над строем его прекрасных контуров, как будто волосы на голове… Тереза, галстук!.. О! Сегодня я понимаю чудака Кризаля*, который прятал галстуки в толстые тома Плутарха. Я последую его примеру и впредь буду класть галстуки между листами Acta Sanctorum .

---

* Кризаль - персонаж комедии Мольера “Ученые женщины” (1672) - невежественный и простодушный буржуа.

Тереза не препятствовала мне говорить и молча искала галстук. Я услыхал, что кто-то тихо позвонил к нам.

- Тереза, звонят! Дайте галстук и ступайте открывать. Или идите лучше открывать, а галстук, с божьей помощью, дадите мне потом. Но только, пожалуйста, не стойте между дверью и комодом, как, извините за выражение, иноходец между двумя седлами.

Тереза пошла к двери, словно на врага. Моя замечательная домоправительница стала весьма негостеприимна. Всякий чужой ей подозрителен. Ее послушать, так это настроение основано на долгом житейском опыте. У меня не оказалось времени сообразить, даст ли тот же самый опыт, но произведенный другим исследователем, такой же результат. В кабинете меня ждал мэтр Муш.

Мэтр Муш еще желтее, чем я думал. У него синие очки, и глаза бегают за ними, как мыши за ширмами.

Мэтр Муш извиняется за беспокойство в момент… Он не дает определения моменту, но, думается, он хотел сказать - когда я без галстука; не по моей вине, как вам известно. Впрочем, мэтр Муш, хотя об этом и не знает, видимо нисколько не обижен. Он только боится, что навязчив. Я успокаиваю его лишь отчасти. Он говорит, что явился побеседовать со мной в качестве опекуна мадемуазель Александр. Для начала он предложил мне не считаться с теми ограничениями, какие раньше он находил нужным внести в данное нам разрешенье посещать мадемуазель Жанну в пансионе. Отныне заведение мадемуазель Префер будет для меня открыто ежедневно с двенадцати до четырех. Ввиду внимания, какое я уделяю его питомице, он считает своим долгом познакомить меня с особой, которой она вверена. Мадемуазель Префер он знает уже давно и доверяет ей вполне. По его словам, мадемуазель Префер женщина просвещенная, благонамеренная и благонравная.

- У мадемуазель Префер есть принципы, - сказал он мне, - а это редко в наше время. Теперь все изменилось, и наша эпоха хуже предыдущих.

- Тому порукой моя лестница, - ответил я, - двадцать лет тому назад она была такой, что я всходил по ней совершенно беспрепятственно, а теперь я задыхаюсь, и у меня подкашиваются ноги на первых же ступеньках. Она испортилась. Точно так же как книги и журналы: некогда без труда проглатывал их при лунном свете, а ныне при самом ярком солнце они смеются над моей любознательностью и представляются какой-то черно-белой рябью, когда я без очков. Подагра донимает мои руки и ноги. Все это - злые проделки времени.

- Не только это, - серьезно продолжил мэтр Муш, - настоящее зло нашей эпохи состоит в том, что решительно никто не доволен своим положением. В обществе сверху донизу, во всех классах, господствует болезненная, беспокойная жажда благосостояния.

- Боже мой! Неужели вы думаете, что жажда благосостояния - это знамение нашего времени? Ни в одну эпоху люди не имели охоты к плохой жизни. Они всегда стремились улучшить свое положение. Это постоянное усилие вело к постоянным революциям. Оно продолжается, только и всего!

- Ах, господин Бонар, сразу заметно, что вы живете среди книг, вдали от деловой жизни! - ответил мэтр Муш. - Вы не видите, как я, столкновений интересов, борьбы из-за денег. От мала до велика, во всех кипит одно и то же. Все отдались необузданному стяжательству. То, что я вижу, приводит меня в ужас.

Я спрашивал себя, неужели мэтр Муш пришел ко мне нарочно для изложения своей добродетельной мизантропии, но из его уст я услыхал и более утешительные речи. Мэтр Муш изобразил мне Виргинию Префер как личность достойную почтения, уважения, симпатии, преисполненную чести, способную на преданность, образованную, скромную, целомудренную, умеющую читать вслух и класть вытяжной пластырь. Я понял, что мрачную картину всеобщего растления он рисовал лишь для контраста, с целью выделить добродетели учительницы. Мне было сообщено, что заведение на улице Демур в большом спросе, доходно и пользуется общим уважением. Подтверждая свои слова, мэтр Муш простер руку в черной шерстяной перчатке. Затем добавил:

- Благодаря моей профессии у меня есть возможность знать свет близко. Каждый нотариус - немного духовник. Я счел своим долгом, господин Бонар, доставить вам эти благоприятные сведения в тот момент, когда счастливый случай свел вас с мадемуазель Префер. Прибавлю только одно: эта особа, абсолютно не осведомленная о моем визите к вам, недавно говорила мне о вас с глубокой симпатией. Повторив ее слова, я бы ослабил их, да и не мог бы передать их, не обманывая, так сказать, доверия мадемуазель Префер.

- Не обманывайте, сударь, не обманывайте, - ответил я. - По правде говоря, я и не подозревал, что мадемуазель Префер хоть сколько-нибудь меня знает. Во всяком случае, раз вы имеете по старой дружбе на нее влиянье, я воспользуюсь вашим расположением ко мне и попрошу вас походатайствовать перед вашим другом за мадемуазель Жанну Александр. Этот ребенок - а она действительно ребенок - перегружен работой. В одно и то же время она и ученица и наставница, а потому сильно утомляется. Кроме того, боюсь, что ей дают слишком чувствовать ее бедность, она же натура благородная, и унижения могут довести ее до открытого противодействия.

- Увы! Необходимо подготовить ее к жизни, - ответил мэтр Муш. - На земле существуют не для забавы и не для того, чтобы давать волю всем своим желаниям.

- На земле существуют, чтобы любить добро и красоту и давать волю всем своим желаньям, если они благородны, великодушны и разумны, - горячо возразил я. - Воспитание, не развивающее таких желаний, только извращает душу. Надо, чтобы наставник учил хотеть.

Мне почудилось, что мэтр Муш расценивает меня как человека жалкого. Он вновь заговорил вполне спокойно и уверенно:

- Подумайте о том, господин Бонар, что воспитание бедных надо вести крайне осмотрительно, имея в виду то зависимое положение, какое им придется занять в обществе. Вы, может быть, не знаете, что Ноэль Александр умер неоплатным должником и дочь его воспитывается почти из милости…

- О! господин Муш! - воскликнул я. - Вот этого не надо говорить.

Говорить так - значит самому вознаграждать себя, а это было бы уже неправильно.

- Пассив наследства, - продолжал нотариус, - превосходил актив. Но я уладил дело с кредиторами в пользу несовершеннолетней.

Он предложил мне дать подробные разъяснения; я отказался - по неспособности понимать денежные дела вообще, а мэтра Муша в частности. Нотариус снова стал оправдывать систему воспитания мадемуазель Префер и в виде заключения сказал:

- Нельзя учиться, забавляясь.

- Учиться можно, только забавляясь, - ответил я. - Искусство обучения есть искусство будить в юных душах любознательность и затем удовлетворять ее; а здоровая, живая любознательность бывает только при хорошем настроении. Когда же насильно забивают голову знаниями, они только гнетут и засоряют ум. Чтобы переварить знания, надо поглощать их с аппетитом. Я знаю Жанну. Если бы этого ребенка доверили мне, я сделал бы из нее не ученого, ибо желаю ей добра, а ребенка, блещущего умом и жизнью, - такого, чтобы в его душе вся красота природы и искусства отображалась нежным блеском. Она жила бы у меня в духовном единении с красивыми пейзажами, с идеальными образами поэзии и истории, с благородно трогательной музыкой. Все, к чему мне хотелось бы внушить ей любовь, я сделал бы для нее привлекательным. Даже рукоделье я бы возвысил для нее подбором тканей, характером вышивок и стилем кружевных отделок. Я подарил бы ей красивую собаку и пони, чтобы научить ее ходить за живыми существами; я бы дарил ей птиц, чтобы, кормя их, она узнала цену капле воды и крошке хлеба. Я создал бы еще одну отраду для нее - возможность радостно благотворить. А поскольку горе неизбежно, поскольку жизнь полна страданий, я научил бы ее той христианской мудрости, которая нас поднимает выше всех страданий и красит само горе. Вот как я мыслю воспитание девицы!

- Преклоняюсь, - ответил мэтр Муш, складывая руки в черных шерстяных перчатках.

Он встал.

- Вы понимаете, конечно, - сказал я, провожая его, - что я не собираюсь

навязывать мадемуазель Префер мою систему воспитания, глубоко личную и совершенно несовместную с укладом даже лучших пансионов. Я только умоляю вас склонить мадемуазель Префер к тому, чтобы она давала Жанне поменьше работы и побольше отдыха, не унижала ее и предоставила свободу ее душе и телу, насколько это допускает устав учебных заведений.

С бледной и таинственной улыбкой мэтр Муш стал уверять, что замечания мои будут встречены наилучшим образом и с ними будут очень считаться.

Вслед за этим он кивнул мне головой и вышел, оставив меня в состоянии какого-то смущения и беспокойства. В жизни я встречался со всякими людьми, но ни один не был похож на этого нотариуса и на эту содержательницу пансиона.

6 июля.

Мэтр Муш так задержал меня, что на этот день я отказался от своего визита к Жанне. Мои профессиональные обязанности заняли остальные дни недели. Достигнув возраста, когда от дел уходят, я еще связан тысячью нитей с тем миром, в котором жил. Я председательствую на конгрессах, в обществах и академиях. Я обременен почетными должностями; в одном лишь министерстве у меня их добрых семь. Правления и канцелярии охотно отделались бы от меня, так же как и я охотно бы отделался от них. Но привычка сильнее и меня и их, а потому я, ковыляя, взбираюсь по казенным лестницам. После моей смерти старые служители будут показывать друг другу мою тень, блуждающую по коридорам. Когда ты очень стар, необычайно трудно взять и исчезнуть. Меж тем, как говорится в песенке, пора уйти в отставку и думать о конце.

Старая маркиза, философка, бывшая в молодости другом Гельвеция*, которую я видел у своего отца весьма престарелой, заболев в последний раз, приняла у себя кюре, желавшего подготовить ее к смерти.

---

* …маркиза, философка, бывшая в молодости другом Гельвеция… - В салоне французского философа Клода-Адриена Гельвеция (1715 - 1771), видного деятеля Просвещения, собирались образованные представители придворной знати.

- Разве это так необходимо? - сказала она ему. - Я вижу, что это прекрасно удается всем с первого же раза.

Спустя некоторое время отец мой навестил ее и застал в очень плохом состоянии.

- Добрый вечер, мой друг, - сказала маркиза, пожимая ему руку, - скоро я увижу, выигрывает ли бог при личном знакомстве с ним.

Вот как умирали красавицы, друзья философов. Такой конец бесспорно не имеет ничего общего с вульгарной дерзостью, и легкомыслия такого рода не бывает в голове у дураков. Но мне оно претит. Мои опасенья и мои надежды несовместимы с таким уходом. Перед уходом я бы желал обдумать все поглубже, - вот почему мне надо будет в течение ближайших лет найти время отдаться самому себе, иначе я рискую… Но шш… Как бы Та, что идет мимо, не обернулась, заслышав свое имя. Я еще могу и без нее поднять свою вязанку*.

---

* …и без нее поднять свою вязанку - намек на басню Лафонтена “Дровосек и Смерть”: старый Дровосек, изнемогая от труда и нищеты, призывает Смерть, но когда она является, уверяет, что звал ее только затем, чтобы она помогла ему взвалить на спину вязанку хвороста.

Жанну я нашел очень довольной. Она мне рассказала, что в прошлый четверг, после того как ее опекун побывал у меня, мадемуазель Префер отменила установленный порядок и освободила Жанну от нескольких работ. С этого блаженного четверга она свободно прогуливается по саду, в котором недостает только цветов да зелени, - и теперь получила возможность работать над своим злосчастным святым Георгием.

Улыбаясь, она сказала мне:

- Я знаю, что всем этим обязана вам.

Я заговорил о другом, но заметил, что она тщетно старается внимательно слушать меня.

- Я вижу, вас занимает какая-то мысль, - сказал я. - Поделитесь ею со мной, иначе мы не скажем друг другу ничего путного, а это будет недостойно ни меня, ни вас.

Она ответила:

- Нет! Я вас слушала; но это верно, что я думала об одной вещи. Вы мне простите, не правда ли? Я думала о том, что мадемуазель Префер, должно быть, очень вас любит, если она вдруг стала так добра ко мне.

И она взглянула на меня с улыбкой, но в то же время испуганно, чему я засмеялся.

- Вас это удивляет? - спросил я.

- Очень.

- Почему же?

- Я совершенно не вижу оснований для того, чтобы вы нравились мадемуазель Префер.

- Значит, вы, Жанна, считаете меня неприятным человеком?

- О нет! Но, право, я не вижу никакой причины, чтобы вы нравились мадемуазель Префер. И все же вы ей очень, очень нравитесь. Она позвала меня к себе и задавала мне всевозможные вопросы относительно вас.

- В самом деле?

- Она хотела разузнать о вашей домашней жизни. Она даже спросила у меня, сколько лет вашей домоправительнице.

- Вот как? Что же вы думаете по этому поводу? - спросил я.

Она долго смотрела неподвижным взглядом на потертое сукно своих ботинок и, видимо, вся ушла в глубокое раздумье. Наконец, подняв голову, сказала:

- Мне что-то подозрительно. Не правда ли, ведь вполне естественно, если тебя тревожит то, чего не понимаешь? Знаю, что я опрометчива, но, надеюсь, вы на меня не сердитесь за это?

- Нет, Жанна, конечно, не сержусь.

Должен признаться, ее недоумение передалось и мне, в моей старой голове вертелась мысль, высказанная этой девушкой: “Тревожит то, чего не понимаешь”.

Но Жанна, улыбаясь, продолжала:

- Она меня спросила… угадайте! Она спросила: любите ли вы хороший стол?

- А как воспринимали вы этот поток расспросов?

- Я ей ответила: “Не знаю, мадемуазель”. А мадемуазель сказала мне: “Вы дурочка. Необходимо отмечать малейшие подробности в жизни выдающегося человека. Знайте, мадемуазель, что Сильвестр Бонар - одна из знаменитостей Франции”.

- Тьфу, пропасть! - воскликнул я. - А вы что думаете об этом?

- Я думаю, что мадемуазель Префер права. Но мне совсем не хочется

(это нехорошо так говорить)… совсем не хочется, чтобы мадемуазель Префер была в чем-нибудь права.

- Ну, так будьте довольны, Жанна: мадемуазель Префер не права.

- Нет! Нет! Она вполне права. Но мне хотелось бы любить всех, кто любит вас, всех без исключенья, а этого я не логу, - я никогда не буду в состоянии любить мадемуазель Префер.

- Послушайте меня, Жанна, - ответил я серьезно. - Мадемуазель Префер стала хороша с вами, будьте же и вы хороши с ней.

Она сухо возразила:

- Для мадемуазель Префер очень легко стать хорошей со мной, мне же очень трудно быть с ней хорошей.

Придав особую серьезность своим словам, я возразил на это:

- Дитя мое, авторитет наставников является священным. Ваша начальница вам заменяет мать, которую вы потеряли.

Едва я произнес эту торжественную глупость, как мне пришлось жестоко в ней раскаяться. Жанна побледнела, глаза ее наполнились слезами.

- О! Господин Бонар! - воскликнула она. - Как можете вы говорить такие вещи? Именно вы?

Да, как я мог сказать такую вещь?! Она повторяла:

- Мама! Милая мама! Бедная мама!

Случайно я не остался глупым до конца. Не знаю, как это произошло, но могло казаться, что я тоже плачу. В моем возрасте уже не плачут - вероятно, коварный кашель вызвал слезы на мои глаза. Словом, тут можно было ошибиться. Жанна и ошиблась. О! Какая чистая, какая лучезарная улыбка сверкнула под ее влажными красивыми ресницами, словно летнее солнце в ветвях после дождя. Мы взялись за руки и так сидели, счастливые, не говоря ни слова.

- Дитя мое, - сказал я наконец, - я очень стар, и много тайн жизни, которые вы постигнете мало-помалу, для меня уже не тайны. Верьте мне: будущее создается прошедшим. Все, сделанное вами для того, чтобы жить здесь хорошо, без горечи и ненависти, послужит вам когда-нибудь для радостной и мирной жизни в своем доме. Учитесь терпеть и будьте кротки. Кто терпелив, тот страдает меньше, А когда у вас будет настоящий повод жаловаться, я приду и выслушаю вас. Если обидят вас, то вместе с вами будут обижены госпожа де Габри и я.

- Как ваше здоровье, дорогой господин Бонар?

Этот вопрос, сопровождаемый улыбкой, задала мадемуазель Префер, потихоньку прокравшись в приемную. Первой моей мыслью было послать ее ко всем чертям, второю - констатировать, что рот ее пригоден для улыбок, как кастрюля для игры на скрипке, третьей - ответить вежливостью на вежливость и выразить надежду, что мадемуазель Префер вполне здорова.

Она услала Жанну гулять в сад, затем, возложив одну руку на пелерину, другую простирая по направлению к Почетной доске, указала мне имя Жанны Александр, написанное почерком рондо на нервом месте.

- С глубокою отрадою я вижу, что вы довольны поведением этого ребенка, - сказал я. - Для меня нет ничего приятнее. А этот удачный результат я склонен приписать вашей сердечной чуткости. Я взял на себя смелость послать вам несколько книг, интересных и поучительных для молодых девиц. Просмотрев эти книги, вы решите, можно ли их дать мадемуазель Александр и ее подругам.

В своей признательности хозяйка пансиона дошла до умиления и рассыпалась в благодарностях. Чтобы положить этому конец, я сказал:

- Сегодня прекрасная погода.

- Да, - ответила она, - и если так пойдет и дальше, то мои девочки будут резвиться в хорошую погоду.

- Вы говорите, разумеется, о каникулах. Но у мадемуазель Александр нет родителей, ей некуда отсюда выйти. Что же будет она делать в этом большом пустом доме?

- Мы предоставим ей возможно больше развлечений. Я сведу ее в музеи и…

Она замялась, затем добавила, краснея:

- … и к вам, если позволите.

- Вот как! - воскликнул я. - Это замечательная мысль. Мы расстались в самых дружеских чувствах: я питал их к ней, потому что добился желаемого; она питала их ко мне - бескорыстно, а это, по учению Платона, ставит ее на высшую ступень в иерархии душ*.

____

* …по учению Платона… на высшую ступень в иерархии душ. - По идеалистическому учению Платона (427 - 347 гг. до н. э.), мир идей является первичным по сравнению с чувственным миром. Познание истины достигается путем воспоминания бессмертной души об идеях, которые она созерцала до вселения в смертное тело. В зависимости от глубины этого созерцания человеческие души, по Платону, образуют иерархию от мудрых и благородных до низменных, коим доступны лишь чувственные удовольствия.

Я все же с дурным предчувствием вводил эту особу к себе в дом. Мне бы хотелось, чтобы Жанна находилась не в таких руках. Мой склад ума чужд умственному складу мадемуазель Префер и мэтра Муша. Я никогда не знаю, почему они говорят то, что говорят, и поступают так, как поступают; в них есть таинственная глубь, которая меня смущает. Как мне сейчас сказала Жанна: “Тревожит то, чего не понимаешь”.

В мои годы, увы, знаешь хорошо, как мало непорочности бывает в жизни; хорошо знаешь, сколько теряется от долгого пребывания в этом мире, и чувствуешь доверие лишь к юности.

16 августа.

Я ждал их. Откровенно говоря, ждал с нетерпением. Чтобы склонить Терезу к хорошему приему, я пустил в ход все свое уменье быть вкрадчивым и быть приятным, но этою оказалось мало. Они пришли. Честное слово, Жанна была очень элегантна. Конечно, ей далеко до бабушки. Но сегодня я впервые заметил, что у нее приятная наружность, - обстоятельство, весьма полезное для женщин в этом мире. Она улыбнулась, и обитель книг повеселела.

Я подглядывал за Терезой, я наблюдал, не смягчится ли суровость старой домоправительницы при появлении юной девушки. Я увидел, как ее тусклые глаза, потом лицо с отвислой кожей, впалым ртом и острым подбородком старой всемогущей феи обратились к Жанне… и больше ничего.

Мадемуазель Префер, вся в синем, то подходила, то отступала, припрыгивала, семенила ногами, восклицала, вздыхала, опускала глаза, поднимала глаза, рассыпалась в учтивостях, робела и смелела, вновь робела и опять смелела, почтительно склонялась, - короче, выкидывала штуки.

- Сколько книг! - воскликнула она. - И вы их все прочли, господин Бонар?

- К сожалению, да, - отвечал я. - Потому-то я ровно ничего не знаю, ибо здесь нет книги, которая не опровергала бы другую, и, ознакомившись со всеми, не знаешь, что же думать. Вот до чего я дошел, мадемуазель.

Тут она позвала Жанну, чтобы поделиться с нею впечатлениями. Но Жанна смотрела в окно.

- Как красиво! - сказала она. - Люблю смотреть, как течет река. Это вызывает столько дум!

Когда мадемуазель Префер сняла шляпку, открыв лоб, обрамленный белокурыми кудряшками, Тереза ухватила ее шляпу, заявив, что не любит, когда на мебели валяется всякое тряпье. Затем она подошла к Жанне и,

называя милой барышней, попросила у нее ее “уборы”. Барышня отдала Терезе шляпку и короткую мантилью, освободив от них свою хорошенькую шейку и стройный стан, как будто для того, чтобы их нежный контур обрисовался четче на фоне ярко освещенного окна, и я подумал: уж лучше бы полюбовался ею кто-нибудь другой, а не дряхлая служанка, завитая барашком хозяйка пансиона и старый архивный палеограф.

- Вы смОтрите, как Сена искрится на солнце, - заметил я.

- Да, - ответила Жанна, облокотись о перила. - Будто пламя течет. А посмотрите вон туда, какой прохладной она кажется у берега - там, где отражаются в ней ивы. Этот уголок мне нравится больше всего.

- Я вижу, вас влечет к себе река. Что бы вы сказали, если бы мы, с согласия мадемуазель Префер, отправились в Сен-Клу на пароходе? Мы его еще застанем ниже Королевского моста.

Жанне очень понравилась моя идея, а мадемуазель Префер была готова на все жертвы. Но моя экономка не собиралась так просто отпустить нас. Она увела меня в столовую, куда я с трепетом последовал за ней.

- Сударь, - сказала она, когда мы оказались наедине, - сами вы никогда ни о чем не позаботитесь, и обо всем приходится думать мне. Счастье, что память у меня хорошая.

Я не счел момент удобным для разрушенья этой смелой иллюзии. Она продолжала:

- Вы так и уйдете, не сказавши мне, что любит барышня. Вам, сударь, трудно угодить, но по крайности вы знаете, что хорошо. Не то что эти молодые, - в кухне они ничего не смыслят. Частенько что ни есть лучшее считают никуда не годным, а дрянь хорошим по случаю того, что желудок у них еще не установился, - тут уж и не знаешь, как с ними быть. Скажите, барышня любит голубей с горошком и профитроли?

- Милая Тереза, делайте по своему усмотрению - и будет очень хорошо. Дамы удовлетворятся нашим обычным скромным столом.

Тереза сухо возразила:

- Я говорю о барышне: нельзя, чтобы она ушла из нашего дома не подкрепившись. А насчет этой кучерявой старой девы, так, ежели мой обед ей не по вкусу, пусть сосет свои пальцы. Мне наплевать.

Со спокойной душой вернулся я в обитель книг, где мадемуазель Префер вязала так безмятежно, как будто у себя дома. Я сам чуть не поверил этому. Правда, сидя у окна, она занимала не много места. Но она так хорошо подобрала себе скамеечку и стул, точно они и были сделаны по ней.

А Жанна не спускала глаз с картин и книг, окидывая их любовным взглядом, как на прощанье.

- Вот, - сказал я, - перелистайте для развлеченья эту книгу, в ней прекрасные гравюры, она, наверно, вам понравится.

И я раскрыл альбом костюмов, гравированных Вечельо; только не банальную копию, сделанную современными художниками, а, будьте любезны, великолепный, почтенный экземпляр первоиздания, благородного, как благородны дамы, изображенные там на пожелтелых, приукрашенных временем листах.

Перелистывая с наивным любопытством гравюры, Жанна сказала:

- Мы говорили о прогулке, а вы мне предлагаете целое путешествие. Большое путешествие!

- Так вот, мадемуазель, для путешествия надо располагаться поудобнее. Вы же сидите на кончике стула, а стул стоит на полу одной ножкой, и ваши колени устанут от Вечельо. Сядьте хорошенько, поставьте стул прямо, а книгу положите на стол.

Улыбаясь, она повиновалась и сказала:

- Взгляните, вот прекрасный костюм! (То был костюм догарессы.) Как это благородно и какие величавые внушает мысли! Да, роскошь все-таки красива!

- Таких мыслей не высказывают, мадемуазель, - заметила хозяйка пансиона, поднимая от работы свой неправильный носик.

- Это очень невинно, - ответил я. - Бывают широкие натуры с врожденной склонностью к великолепию.

Неправильный носик тотчас опустился.

- Мадемуазель Префер тоже любит роскошь, - сказала Жанна, - она вырезывает из бумаги транспаранты для ламп. Это роскошь недорогая, но все же роскошь.

Вернувшись к Венеции, мы знакомились с патрицианкой, одетой в шитый далматик, как вдруг послышался звонок. Я подумал, что это мальчик из булочной со своей корзинкой, но дверь в обитель книг открылась и… Старый Сильвестр Бонар! Ты только что желал, чтобы глаза иные, а не поблекшие и не в очках, увидели твою любимицу во всем ее очарованье, и вот желания твои осуществились нежданно и негаданно. И так же, как неразумному Тезею*, какой-то голос говорит тебе:

---

* …как неразумному Тезею… - В трагедии Расина “Федра” (1677) внутренний голос предостерегает Тезея, который испросил у богов гибели для своего сына Ипполита, оклеветанного мачехой.

Страшись небес, страшись: уготовляя мщенье,

Пошлют они тебе желаний исполненье.

Дверь в обитель книг растворилась, и появился красивый, хорошо сложенный молодой человек, сопровождаемый Терезой. Эта простодушная старуха умеет только отворять и затворять входную дверь; она не смыслит ничего в тонкостях передней и гостиной. Не в ее обычае докладывать или просить обождать. Она или выталкивает людей на лестницу, или валит их

вам прямо на голову.

Итак, красивый молодой человек передо мною, - но, право, не могу же я сразу запереть его, как опасного зверя, в соседней комнате. Жду его объяснений; он, не смущаясь, излагает их. Но, думается мне, он все-таки заметил девушку, которая, склонившись над столом, перелистывает Вечельо. Гляжу я на него - и либо сильно ошибаюсь, либо я где-то его видел. Его зовут Жели. Это имя я когда-то слышал. Словом, господин Жели (Жели так Жели) весьма хорош собою. Он говорит, что учится на третьем курсе Архивной школы и вот уже год с четвертью или года полтора готовит выпускную диссертацию на тему о бенедиктинских аббатствах в 1700 году. Он только что прочел мои работы по поводу Monasticon и убедился, что не может как следует закончить диссертацию без моих советов, - это прежде всего, и без одной рукописи, находящейся в моем владении и представляющей собой не что иное, как приходо-расходную книгу цистерцианского аббатства с 1663 по 1704 год.

Сообщив эти обстоятельства, он передал мне рекомендательное письмо за подписью славнейшего из моих собратий.

Ага! Я вспомнил: г-н Жели - это тот самый молодой человек, который в прошлом году под каштанами назвал меня дурнем. Развернув рекомендательное письмо, я думаю:

"Так! Так! Бедняга! ты далек от подозренья, что я тебя подслушал и знаю, как ты мыслишь обо мне… или, по крайней мере, мыслил в тот день, ибо юные головы так ветрены. Безрассудный юноша, ты у меня в руках! Ты очутился в логовище льва, и, право, столь внезапно, что старый лев, застигнутый врасплох, не знает, как поступить ему с добычей. Однако, старый лев, останешься ли ты дурнем и сейчас? Если ты не дурак, то был им. Ты был глупцом, когда у статуи Маргариты Валуа стал прислушиваться к словам господина Жели, был глупцом в квадрате, когда ты выслушал его, и глупцом в кубе, если не забыл того, чего не следовало слышать".

Пожурив старого льва, я умолил его быть милосердным, он не заставил тащить себя за шиворот и сразу так повеселел, что еле сдержал радостное рычанье.

По тому, как я читал письмо своего коллеги, я мог сойти за малограмотного. Это тянулось долго, и г-н Жели мог бы соскучиться, но он смотрел на Жанну и терпеливо сносил свою участь. Жанна время от времени поворачивала голову в нашу сторону. Нельзя же сидеть не шелохнувшись, не правда ли? Мадемуазель Префер поправила свои кудряшки, а грудь ее вздымалась от тихих вздохов. Надо сказать, что такими вздохами нередко бывал почтен и я.

- Очень рад быть вам полезным, господин Жели, - промолвил я, складывая письмо. - Вы занимаетесь изысканиями, сильно увлекавшими и меня самого. Я сделал, что мог. Знаю, так же как и вы, - и даже лучше, - сколько надо еще сделать. Рукопись, которую вы просите, в вашем распоряженье: вы можете взять ее с собой; но она не из маленьких, и я боюсь…

- Ничего, большие книги мне не страшны, - сказал Жели. Я попросил молодого человека обождать и пошел и кабинет

за книгой, но сначала не находил ее и даже отчаялся найти, заметив по верным признакам, что Тереза навела порядок в кабинете. Однако книга была так велика и так толста, что Терезе не удалось запрятать ее совсем. Я насилу ее поднял и порадовался тому, что она достаточно увесиста.

”Постой, мой мальчик, - молвил я с улыбкой, которой полагалось быть очень саркастической, - постой: сейчас ее взвалю я на тебя, она натрудит тебе сначала руки, а потом и мозги. Это и будет первой местью Сильвестра Бонара, а затем посмотрим”.

Вернувшись в обитель книг, я услыхал голос Жели, говорившего Жанне:

- Венецианки красили волосы желтой краской. Краска у них была медово-желтого и золотистого оттенка. Но бывает натуральный цвет волос, гораздо красивее, чем цвет золота и цвет меда.

Жанна ответила задумчивым, сосредоточенным молчаньем. Я догадался, что в дело замешался плут Вечельо и что они, склонясь над книгой, рассматривали догарессу и патрицианок.

Я появился с огромным фолиантом в надежде, что Жели поморщится: ноша была под стать носильщику и до боли оттянула мне руки. Но юноша

поднял ее, как перышко, и, улыбаясь, сунул под мышку. Затем он поблагодарил меня коротко (что я ценю), напомнил о необходимости моих советов и, условившись о дне следующей беседы, весьма непринужденно откланялся нам всем…

Я сказал:

- Милый юноша.

Жанна перевернула несколько страниц Вечельо, ничего не ответив.

Мы отправились в Сен-Клу.

Сентябрь - декабрь.

Визиты к старику шли своим чередом, за что я был глубоко благодарен мадемуазель Префер, которая в обители книг добилась признанного за ней места. Теперь она говорит: мой стул, моя скамеечка, моя этажерка. Этажеркой ей служит полочка, откуда она выгнала шампанских поэтов, водворив на их место свои рабочий мешочек. Она очень любезна, и надо быть чудовищем, чтобы не полюбить ее. Я ее терплю в полном смысле этого слова. Да л чего не стерпишь ради Жанны? Обители книг она придает очарованье, и мысленно я наслаждаюсь им даже тогда, когда Жанны пет. Она мало образованна, но очень даровита, и когда я хочу показать ей что-нибудь красивое, оказывается, что сам я многого не видел, а красоту мне раскрывает Жанна. Если я до сих пор но мог добиться, чтобы она следила за ходом моих мыслей, то часто мне доставляло удовольствие следить за остроумною причудливостью ее мыслей.

Будь я более благоразумен, я подумал бы о том, чтобы сделать ее полезным человеком. Но разве в жизни не полезно быть милой? В ней нет красоты, но есть большое обаянье. А обаятельность, пожалуй, стоит уменья штопать чулки. Кроме того, я не бессмертен, и она еще не будет старой, когда мой нотариус (не Муш, конечно) прочтет ей некую бумагу, подписанную мной на днях.

Я не согласен, чтобы кто-нибудь другой заботился о ней и наделил ее приданым. Сам я не богат, наследие отца не приумножилось в моих руках, - роясь в старых текстах, капитала не накопишь. Но мои книги, по цепам, существующим теперь на этот благородный товар, кое-чего стоят. Вот здесь, на этой полке, стоят несколько поэтов XVI века, которых будут оспаривать банкиры у владетельных особ. Я полагаю, что этот Часослов Симона Вотра не пройдет незамеченным в аукционном зале Сильвестра, так же как и “Praeces piae”, переработанные для королевы Клавдии. Я старательно собирал и хранил те редкие и замечательные экземпляры, какие населяют обитель книг, и долго верил, что для моей жизни они необходимы, как воздух или свет. Я очень их любил и до сих пор еще не в силах удержать себя, чтоб им не улыбнуться или не приласкать их. Этот сафьян так приятен глазу, тонкий пергамент так нежен на ощупь! Каждая из этих книг, в силу того или другого присущего ей достоинства, заслуживает уважения порядочного человека. Какой другой владелец сумеет должным образом их оценить? Почем знать, не даст ли новый хозяин погибнуть им в забвении, или не искалечит их причудою невежды? В чьи руки попадет этот несравненный экземпляр “Истории аббатства Сен-Жермен-де-Пре”, где на полях сам автор, Дом-Жак Буйар собственноручно сделал очень важные пометки?.. Мэтр Бонар, ты старый сумасброд. Сегодня Тереза, бедное создание, прикована к постели жестоким ревматизмом. Должна прийти Жанна со своей дуэньей, и, вместо того чтобы подумать об их приеме, ты размышляешь о разных пустяках. Сильвестр Бонар, помяни мое слово, тебе ни в чем не преуспеть.

И точно - я вижу из окна, как они выходят из омнибуса. Жанна спрыгивает, словно кошечка, а мадемуазель Префер доверила крепкой руке кондуктора свою особу со стыдливой грацией Виргинии, уцелевшей при кораблекрушении* и на этот раз безропотно позволившей себя спасти. Жанна поднимает голову, видит меня и делает мне неуловимый знак сердечной дружбы. Я замечаю, что она хорошенькая. Все же не так, как ее бабушка. Но ее прелесть стала радостью и утешеньем такому старому безумцу, каков я. А что подумают о ней безумцы юные (они еще встречаются) - не знаю; да это и не мое дело… Но неужели надо повторять тебе, мой друг Бонар, что Тереза слегла в постель и ты должен сам отворить дверь?

---

* …Виргинии, уцелевшей при кораблекрушении… - Героиня романа Жака-Анри Бернардена де Сен-Пьера “Поль и Виргиния” (1787) - олицетворение девичьей прелести и чистоты - гибнет во время кораблекрушения на глазах своего возлюбленного.

Отворяй, дедушка Мороз… звонит Весна.

Действительно, это Жанна, вся розовая Жанна. Мадемуазель Префер, запыхавшись и негодуя, отстала на целый этаж.

Я объявил им, что домоправительница захворала, и предложил пообедать в ресторане. Но Тереза, всемогущая и на одре болезни, решила, что обедать надо дома. По ее мнению, люди приличные не обедают в ресторанах. К тому же она предусмотрела все. Для обеда все куплено, приготовит его швейцариха.

Дерзновенной Жанне вздумалось пойти взглянуть, не нужно ли чего больной старухе. Вы, разумеется, хорошо представляете себе, что ее быстро выпроводили в гостиную, однако не так сурово, как можно было опасаться.

- Уж коли, не дай бог, явится нужда за мной ходить, - было ей сказано, - так я найду кого другого, а не такую милочку, как вы. Мне надобен покой. А для этого товара на вашем рынке нету лавочки под вывеской “Молчи-помалкивай”. Идите-ка резвиться, а не сидите тут. Это нездорово: старость прилипчива.

Передав нам эти слова, Жанна добавила, что ей очень нравится язык старой Терезы. В ответ на это мадемуазель Префер упрекнула ее в отсутствии изысканного вкуса. Я сделал попытку оправдать Жанну свидетельством многих ревнителей родной речи, утверждавших, что они учились родному языку у грузчиков с сенной пристани и у старых прачек. Но у мадемуазель Префер вкусы чересчур изысканны, и мои доводы ее не убеждают.

Тем временем Жанна с умиляющим лицом попросила у меня разрешения надеть белый фартук и пойти на кухню заняться обедом.

- Жанна, - ответил я серьезно, по-хозяйски, - чтобы колотить тарелки, бить блюда, уродовать кастрюли и вышибать днища в котелках, я думаю, вполне достаточно противного существа, поставленного Терезой на работу в кухне, ибо сейчас мне чудится там грохот разрушенья. Во всяком случае, вам, Жанна, я поручаю изготовление десерта. Ступайте за белым фартуком, я повяжу его вам собственноручно.

Я торжественно завязал на ее талии полотняный фартук, и она бросилась в кухню готовить, как позже мы узнали, тонкие блюда.

Мне не пришлось хвалить себя за этот распорядок, ибо мадемуазель Префер, оставшись со мной наедине, повела себя так, что я встревожился. Тяжко вздыхая, она взглянула на меня горящими и влажными от слез глазами.

- Мне жаль вас, - начала она, - такой человек, как вы, человек исключительный, живете одиноко, в обществе грубой служанки. - ведь что ни говорите, она груба! Какое ужасное существованье! Вам нужны покой, уход, внимание и всяческая заботливость; вы можете и заболеть. Каждая женщина, без исключений, почла бы честью носить ваше имя и разделять вашу жизнь. Нет! Исключенья быть не может: так говорит мне сердце.

И это сердце, готовое ежеминутно выпрыгнуть, она прижала обеими руками.

Я был буквально в отчаянии. Я попытался указать мадемуазель Префер, что не намерен на склоне дней менять свой образ жизни и чувствую себя счастливым ровно настолько, насколько это допускает моя натура и судьба.

- Нет! Вы не счастливы! - воскликнула она. - Вам нужна душа, способная понять вас. Выйдите из вашего оцепененья, посмотрите вокруг себя. У вас широкий круг отношений, прекрасные знакомства. Академик не может не бывать в обществе. Глядите, судите, сравните. Здравомыслящая женщина вам не откажет в своей руке. Я женщина, и мой инстинкт не может обмануть меня; какое-то чувство мне говорит, что счастье вы найдете в браке. Женщины такие преданные, такие любящие (не все, конечно, но найдутся) и к тому же очень неравнодушны к славе! У вашей кухарки нет

больше сил; она глуха, она калека. Вдруг что-нибудь случится с вами ночью! Видите, при одной мысли об этом я дрожу.

Она действительно дрожала; она жмурила глаза, сжимала кулаки и отбивала ногами дробь. Мое уныние дошло до крайнего предела. С каким неимоверным жаром она опять заговорила!

- Ваше здоровье! Ваше драгоценное здоровье! Я бы с восторгом отдала всю кровь свою для сохранения жизни ученого, литератора, человека заслуженного, академика. Я презирала бы женщину, не сделавшую этого. Послушайте, я знала жену одного великого математика, который делал вычисления целыми тетрадями и наполнял ими все шкафы в своей квартире. У него была болезнь сердца, он таял на глазах. И рядом с ним я видела его жену - совершенно спокойной! Я не сдержалась и однажды сказала ей: “Дорогая, у вас нет сердца. Я бы на вашем месте… я бы… просто не знаю, что бы сделала!”

В изнеможении она остановилась. Мое положение было ужасно. Высказать мадемуазель Префер начистоту мое мнение о ее советах - нечего было и думать. Ибо поссориться с ней - значило потерять Жанну. А потому я отнесся мягко к происшедшему. Кроме того, она была моей гостьей; это соображенье помогло мне сохранить известную учтивость.

- Я очень стар, мадемуазель, - ответил я, - и опасаюсь, что ваши советы немножко запоздали. Во всяком случае, я подумаю. А теперь придите в себя. Вам хорошо бы выпить стакан сахарной воды.

К моему великому изумлению, эти слова разом утихомирили ее, и она спокойно уселась в своем углу, у своей полочки, на своем стуле, положив ноги на свою скамейку.

Обед совсем не удался. Мадемуазель Префер ушла в мечты и не обратила внимания на это. Обычно я весьма чувствителен к такого рода злоключеньям, но оно так веселило Жанну, что в конце концов и я повеселел. Несмотря на свой преклонный возраст, я до сих пор не знал, что курица, сырая с одного бока и сожженная с другого, представляет собою нечто крайне забавное, - этому научил меня звонкий смех Жанны. Наша курица вызвала множество остроумных замечаний, уже забытых мною, и я был восхищен тем, что ее зажарили так нелепо.

Конец обеда был не лишен прелести, когда юная девушка в белом фартуке, тоненькая, стройная, подала приготовленное ею самой блюдо из взбитых белков. В бледно-золотистом соусе они блестели, целомудренно сверкая и распространяя тонкий аромат ванили. Жанна их поставила на стол с невинной грацией шарденовской хозяйки*.

____

* …с невинной грацией шарденовской хозяйки. - Имеются в виду жанровые картины французского художника Жан-Батиста-Симона Шардена (1699 - 1779), которые поэтизировали обыденную жизнь простых людей.

В глубине души я был встревожен. Мне казалось почти немыслимым поддерживать добрые отношения с мадемуазель Префер, в которой разыгрались брачные страсти. А уйдет учительница - прощай и ученица! Когда же эта добрая душа пошла надевать свою мантилью, я воспользовался минутой, чтобы совершенно точно узнать, сколько Жанне лет. Ей оказалось восемнадцать лет и один месяц. Я посчитал на пальцах, и вышло, что ее совершеннолетие наступит лишь через два года и одиннадцать месяцев. Как быть все это время?

Расставаясь со мною, мадемуазель Префер взглянула на меня так выразительно, что у меня по телу забегали мурашки.

- До свиданья, - внушительно сказал я Жанне. - Выслушайте меня: друг ваш стар, и вы можете потерять его. Обещайте никогда не терять самое себя, и я буду спокоен. Да хранит вас бог, дитя мое!

Заперев дверь, я растворил окно, чтобы еще раз взглянуть на Жанну, когда она выйдет на улицу. Ночь была сумрачная, и я лишь смутно различил две тени, скользившие по темной набережной. До меня донесся неумолчный глухой рокот города, и сердце мое сжалось.

15 декабря.

Фульский король хранил золотой кубок*, подаренный ему на память любимой женщиной. Близкий к смерти и чувствуя, что пьет в последний раз, король забросил кубок в море. Эту тетрадь воспоминаний я храню, как старый властелин туманных морей хранил чеканный кубок, и так же, как утопил он драгоценный дар любви, сожгу я свой отчет о жизни. Конечно, не из надменной скрытности и себялюбивой гордости я уничтожу этот памятник скромной своей жизни, но из опасенья, что вещи, мне дорогие и святые, по неискусности моей будут казаться смешными или пошлыми.

____

* Фульский король хранил золотой кубок… - Имеется в виду баллада Гете “Фульский король” (1774), впоследствии включенная им в “Фауста”.

Говорю это безотносительно к последующему. Спору нет, я был смешон, когда, явившись по приглашению мадемуазель Префер обедать, сидел в бержерке (то была действительно бержерка) по правую руку от этой тревожащей меня особы. Стол накрыт был в маленькой гостиной. Щербатые тарелки, разнокалиберные стаканы, ножи, болтавшиеся в черенках, и вилки, бурые от ржавчины, - все, что сразу отбивает аппетит у порядочного человека, оказалось налицо.

Обед, как доверительно мне сообщили, устроен был ради меня - одного меня, хотя на нем присутствовал и мэтр Муш. Взбрело же в голову мадемуазель Префер, что в отношении масла у меня сарматский вкус*: поданное масло оказалось совершенно прогорклым.

---

* Сарматский вкус - то есть варварский, грубый вкус.

Жаркое отравило меня вконец. Зато я с удовольствием слушал, как мэтр Муш и мадемуазель Префер высказывались о добродетели. Я сказал “с удовольствием”, а надлежало сказать - со стыдом, ибо выраженные ими чувства были слишком тонки для грубой моей натуры.

На основании их слов мне было ясно, как день, что преданность для них - хлеб насущный, а самопожертвование необходимо им, как воздух и вода. Заметив, что я не ем, мадемуазель Префер изо всех сил старалась преодолеть то, что по доброте своей называла моей скромностью. Жанны не было на этом торжестве, потому что, как мне сказали, ее присутствие, противное уставу, нарушило бы равенство, столь необходимое среди такого количества юных учениц.

Унылая служанка подала скудный десерт и ускользнула, словно тень.

Тогда мадемуазель Префер с большой восторженностью сообщила мэтру Мушу все, о чем говорила мне в обители книг, когда хворала моя домоправительница: свое восхищенье академиком, свой страх, что я в болезни окажусь один, уверенность, что женщина интеллигентная почтет за честь и счастье делить со мною жизнь; она не скрыла ничего, наоборот - добавила еще не мало новых глупостей. Мэтр Муш одобрительно кивал головой и щелкал орехи. Выслушав весь этот вздор, он приятно улыбнулся и спросил, каков был мой ответ.

Положив одну руку на сердце, другой указывая на меня, мадемуазель Профер воскликнула:

- Он такой любящий, такой недосягаемый, такой великий и такой добрый! Он ответил… Но нет, не мне, простой женщине, говорить словами академика, - довольно, если я передам их суть. Он ответил: “Да, я понимаю вас, и я согласен”.

С этими словами она взяла мою руку. Мэтр Муш, растроганный, поднялся с места и завладел другой моей рукой.

- Поздравляю вас, господин Бонар, - сказал он мне. Бывали в моей жизни случаи, когда меня брал страх, но никогда я не испытывал такого омерзительного ужаса.

Я высвободил руки и, встав, чтобы придать возможно большую значительность своим словам, произнес:

- Мадемуазель, или в то время я плохо выразился, или сейчас я плохо понял вас. В обоих случаях необходимо привести все в ясность. Позвольте, мадемуазель, высказаться напрямик. Нет, я не понял вас; нет, я ни на что не соглашался: мне совершенно неизвестно, какие виды на меня вы можете иметь, если только вы их имеете. Во всяком случае, жениться я не собираюсь. В моем возрасте это было бы непростительным безумием, и я еще сейчас не представляю, как вы, такая здравомыслящая женщина, могли мне посоветовать жениться. Я даже имею нее основания думать, что ошибся и ничего подобного вы мне не говорили. В таком случае простите старика, отвыкшего от света, не созданного для разговора с дамами и глубоко огорченного своей ошибкой.

Мэтр Муш тихонько сел на свое место и, так как орехи были съедены, стал резать пробку.

Несколько секунд мадемуазель Префер разглядывала меня жесткими кругленькими глазками, каких я у нее еще не видел, затем вновь обрела свою слащавую любезность. Медовым голосом она воскликнула:

- Ах, эти ученые! Эти кабинетные люди! Совсем как дети! Да, господин Бонар, вы настоящий ребенок.

Обернувшись к притихшему и занятому пробкой нотариусу, она молящим голосом сказала:

- О! Не осуждайте его! Не осуждайте! Не думайте о нем плохого, прошу вас. Не думайте! Неужели мне надо вас просить об этом на коленях?

Мэтр Муш исследовал со всех сторон пробку, ничем другим не проявив себя.

Я был в негодовании; судя по жару в голове, щеки мои, должно думать, сильно раскраснелись. Это обстоятельство оправдывало те слова, которые я услыхал сквозь шум в висках:

- Наш бедный друг меня пугает. Господин Муш, будьте добры отворить окно. Мне кажется, ему поможет компресс из арники.

Я выбежал на улицу с невыразимым чувством отвращения и ужаса.

20 декабря.

Целую неделю я ничего не слышал о заведении Префер. Не в силах оставаться дольше без вестей о Жанне и полагая сверх того, что у меня есть долг перед самим собою - но отступать, я направил путь свой в Терн.

Приемная мне показалась еще более холодной, сырой, неуютной и коварной, а служанка еще более испуганной и молчаливой, чем когда-либо. Я спросил Жанну, и спустя довольно долгое время явилась сама мадемуазель Префер, степенная, бледная, с поджатыми губами и жестким взглядом.

- Господин Бонар, - произнесла она, скрестив под пелериной руки, - я крайне сожалею, что не могу вам разрешить увидеться сегодня с мадемуазель Александр, но это невозможно.

- Почему же?

- Причины, обязывающие меня просить вас сократить количество ваших посещении, носят особо щекотливый характер, и я прошу вас избавить меня от неприятности излагать их вам.

- Мадемуазель, я уполномочен опекуном Жанны видеть ее хоть каждый день. Какие же могут быть у вас основания идти наперекор желаньям мэтра Муша?

- Опекун мадемуазель Александр (она налегла на слово “опекун”, как на

солидную точку опоры) желает так же горячо, как я, положить конец вашим домогательствам.

- Если так, благоволите изложить мне основания его и ваши.

Она взглянула на бумажную спираль и с грозным спокойствием ответила:

- Вы этого хотите? Как ни тягостно для женщины объяснение такого рода, я уступаю вашим требованиям. Мой дом, милостивый государь, дом уважаемый. На мне лежит ответственность: я обязана, подобно матери, блюсти каждую из учениц. Ваши домогательства по отношению к мадемуазель Александр не могут продолжаться без вреда для этой девушки. Мой долг их прекратить.

- Я вас не понимаю, - ответил я.

И это была истинная правда. Она добавила с расстановкой:

- Люди, самые уважаемые и совсем не склонные к подозрениям, истолковывают ваши домогательства в таком духе, что я обязана прекратить их возможно скорее и в интересах пансиона, и в интересах мадемуазель Александр.

- Мадемуазель, - вскричал я, - на своем веку я слышал много глупостей, но ни одна не может сравниться с той, какую вы только что сказали!

Ответ ее был прост:

- Ваши оскорбления меня не задевают. Когда исполняешь долг, чувствуешь себя неуязвимой.

Она прижала пелерину к сердцу - на этот раз не для того, чтобы удержать его, а несомненно с целью приласкать за благородство.

- Мадемуазель, - сказал я, указывая на нее пальцем, - вы возбудили негодование старика. Постарайтесь, чтобы старик забыл о вас, и не прибавляйте новых дурных дел к тем, какие мне уже открылись. Предупреждаю, я не оставлю попечения о мадемуазель Александр. Горе вам, если вы чем-нибудь обидите ее.

По мере того как горячился я, мадемуазель Префер становилась спокойнее и с удивительным хладнокровием ответила:

- Милостивый государь, для меня достаточно ясен характер вашего интереса к этой девице, и я должна избавить ее от того попечения, каким вы мне грозите. Принимая во внимание более чем двусмысленную интимность вашего сожительства с домоправительницей, мне следовало бы еще раньше оградить невинного ребенка от соприкосновения с вами. Так я и сделаю на будущее время. Если же я до этих пор была чересчур доверчивой, то в этом упрекнуть меня имеет право только мадемуазель Александр, а не вы; но благодаря мне она слишком чиста, слишком простодушна, чтобы заподозрить характер той опасности, какой подвергали ее вы. Надеюсь, вы не заставите меня разъяснить все это ей.

”Ну, бедный Бонар, - подумал я, пожав плечами, - надо же было тебе дожить до сей поры, чтоб узнать, какой бывает злая женщина. Теперь ты знаешь это в совершенстве”.

Я вышел, не ответив, и с удовольствием заметил по внезапному румянцу, залившему лицо хозяйки пансиона, что мое молчанье задело ее гораздо больше, чем слова.

Я проходил двор, поглядывая во все стороны в надежде увидеть Жанну. Она подстерегала меня и бросилась ко мне.

- Жанна, если тронут хоть один ваш волос, напишите мне. Прощайте!

- Нет! До свиданья!

Я ответил:

- Да! Да! До свиданья! Пишите мне!

Я пошел прямо к г-же де Габри.

- Господа в Риме. Разве вы этого не знали?

- Правда! Госпожа де Габри писала мне об этом.

В самом деле, она писала мне, и я, видно, совсем потерял голову, если

забыл об этом. Слуга, наверное, так и думал, ибо он посмотрел на меня, как будто говоря: “Господин Бонар впал в детство”, и перегнулся через перила лестницы взглянуть, не выкинул ли я чего-нибудь необычайного. Я сошел с лестницы как подобает, и он разочарованно вернулся в комнаты.

Придя домой, я узнаю, что в гостиной сидит Жели. Этот юноша меня усердно посещает. У него, конечно, нет основательных суждений, но ум незаурядный. На этот раз его приход только смутил меня. “Увы! - подумал я. - Сейчас скажу своему юному другу какую-нибудь глупость, и он тоже подумает, что я “сдаю”. Однако не могу же я объяснить ему, что мне сделали предложение жениться, что обозвали меня развратником, что Тереза на подозрении, а Жанна остается в руках злодейки. Нечего сказать, прекрасное состояние духа, чтобы толковать о цистерцианских аббатствах с молодым, да еще недоброжелательным ученым! Вперед, однако же, вперед!”

Меня остановила Тереза.

- Какой вы красный, сударь! - произнесла она с укоризной.

- Это все весна, - ответил я.

- Весна! В декабре-то месяце? - воскликнула она. Действительно, сейчас декабрь. Ах! Что у меня за голова, - нечего сказать, хороша опора для бедной Жанны!

- Тереза, возьмите палку и, если это осуществимо, поставьте в такое место, где я могу ее найти. - Здравствуйте, господин Жели. Как поживаете?

Без даты.

На следующий день старик хотел подняться - и не мог. Невидимая рука, державшая его в постели, была сурова. В полном смысле слова прикованный к постели, старик покорился и решил не двигаться, но его мысли копошились.

Очевидно, у него был сильный жар, ибо мадемуазель Префер, аббаты из Сен-Жермен-де-Пре и дворецкий г-жи де Габри являлись ему в самых

причудливых образах. Вот и сейчас дворецкий вытянулся у него над головой, строя гримасы, точно химера на соборном водостоке. Мне чудится, что в комнате очень много, чересчур много народа.

Обстановка этой комнаты - в старинном духе; на стоне, оклеенной обоями с зелеными “травами”, висит портрет моего отца в парадной форме и портрет матери в кашемировом платье. Я это знаю, и знаю даже, что тут все основательно поблекло. Но стариковской комнате нет нужды быть кокетливой; достаточно, чтобы она была опрятной, а об этом заботится Тереза. К тому же комната довольно своеобразна, и это нравится моей душе, все еще немного ребячливой и склонной к пустякам. На стенах и среди предметов обстановки есть вещи, которые обычно беседуют со мной и меня тешат. Но что им нужно от меня сегодня? Они брюзжат, грозятся и строят рожи. Вот статуэтка, слепок с богословской Добродетели из собора Богоматери, что в Бру, такая наивная и грациозная обычно, теперь кривляется и показывает мне язык. А вот прекрасная миниатюра, где самый трогательный из учеников Жана Фуке* изобразил себя в то время, когда он, стоя на коленях, препоясанный веревкою сынов святого Франциска**, подает свою книгу доброму герцогу Ангулемскому; но кто же вынул ее из рамы и подменил большой кошачьей головой, уставившейся на меня фосфорическими глазами? Травы на обоях тоже превратились в головы, зеленые и безобразные… Нет, нет, сегодня, как и двадцать лет тому назад, это набойчатые травы, и больше ничего… Нет, я был прав… то головы с глазами, носом, ртом, - да, головы!.. Понимаю: они одновременно и травы и головы. Хорошо бы их не видеть.

---

* Жан Фуке (ок. 1420 - ок. 1480) - французский художник, прославившийся своими миниатюрами.

** …препоясанный веревкою сынов святого Франциска… - Монахи нищенствующего ордена францисканцев (последователей итальянского мистика Франциска Ассизского; 1182 - 1226) носили рясу, подпоясанную веревкой.

Там, справа, красивая миниатюра францисканца вернулась на свое место, но мне все кажется, что я удерживаю ее на этом месте тяжким напряженьем воли и стоит мне устать, как снова появится там гадкая кошачья голова. У меня нет бреда: я хорошо вижу Терезу у изножия моей кровати, хорошо слышу то, что она мне говорит; и я бы ей ответил с полной ясностью ума, если бы не был так занят, удерживая все окружающие предметы в присущем им обличье.

Вот и доктор. Я за ним не посылал, но рад его видеть. Это старинный сосед, он мало поживился от меня, но я его люблю. Если я не говорю ему ничего толкового, то, по крайней мере, все сознаю и даже по-своему лукавлю, подмечая его жесты, взгляды, малейшие складки на его лице. Доктор хитер, и, право, не знаю, что думает он о моем состоянии. Мне приходит на ум глубокомысленное изречение Гете; я говорю:

- Доктор, старик согласился только заболеть, но большего он не уступит природе в этот раз.

Ни доктор, ни Тереза не смеются моей шутке. Очевидно, не поняли.

Доктор уходит. Вечереет. Всевозможные тени образуются, как облака, и тают в складках полога. Тени толпой проходят мимо меня, сквозь них мне видится недвижное лицо верной моей служанки. Вдруг крик, пронзительный крик, крик скорби раздирает мой слух. “Жанна, это вы меня зовете?”

Смерклось, и тени стали у моего изголовья на всю долгую ночь.

На заре я успокаиваюсь; покой, безграничный покой объемлет меня всего. Не лоно ли твое мне раскрываешь, господи?

Февраль 1876 года.

Доктор совсем развеселился. Видимо, я, встав на ноги, оказываю ему

большую честь. Послушать его, так на мое старческое тело обрушились неисчислимые недуги.

Эти недуги - ужас для человека, а их названия - ужас для филолога; они - словесные гибриды, полулатинские, полугреческие, с окончаниями на ит - для воспалительного состояния и на алгия - для болезненных процессов. Доктор перечисляет их с достаточным количеством прилагательных на ый , характеризующих их отвратительные свойства. Короче говоря, добрый столбец из медицинского словаря.

- Вашу руку, доктор. Вы вернули меня к жизни, я вас прощаю. Вы возвратили меня моим друзьям, благодарю вас. Вы говорите, что я прочен. Конечно, конечно, но я порядком зажился. Я - старая мебель, весьма похожая на кресло моего отца. Этому добродетельному человеку оно досталось по наследству, и он сидел в нем с утра до вечера. Мальчуганом, я взбирался на ручки этого древнего кресла раз двадцать за день. Пока оно держалось крепко, никто не обращал на него внимания. Но оно захромало на одну ногу, и стали говорить, что это хорошее кресло. Затем оно охромело на три ноги, поскрипывало четвертой и почти обезручело. Только тогда стали восклицать: “Какое прочное кресло!” Дивились тому, что, не имея ни одной ручки и твердо стоящей ножки, оно все же сохраняло форму кресла, кое-как держалось и до известной степени было пригодно. Наконец волос из его обивки вылез, и оно приказало долго жить. А когда наш слуга Киприан распилил его на части, чтобы сложить в дровяной сарай, возгласы изумления усилились: “Замечательное, чудесное кресло! На нем сидел Пьер-Сильвестр Бонар, купец-суконщик, его сын Эпименид Бонар и Жан-Батист Бонар - начальник третьего морского отделения, философ-пирроник*. Какое почтенное, могучее кресло!” На самом деле это было отжившее кресло. Вот, доктор, и я такое кресло. Вы считаете меня крепким потому, что я выдержал приступы таких болезней, какие прикончили бы изрядное количество людей совсем, а меня доконали только на три четверти. Весьма благодарен. Но это нисколько не мешает мне быть чем-то непоправимо поврежденным.

---

* Философ-пирроник - то есть скептик; древнегреческий философ Пиррон (365 - 275 гг. до н. э.) - родоначальник античного скептицизма.

С помощью многозначительных греческих и латинских слов доктор стремится доказать мне, что я в хорошем состоянии, - для убеждения такого рода язык французский слишком ясен. Я все же даю себя уговорить и провожаю доктора до двери.

- И в добрый час! - говорит мне Тереза. - Вот как надо выпроваживать лекарей. Стоит вам принять его таким манером еще разика два-три, он больше не придет, а оно и к лучшему.

- Вот что, Тереза, раз уж я опять стал молодцом, не лишайте меня писем. Наверно, их накопилась целая кипа, и не давать мне их читать теперь было бы злодейством.

Немного поломавшись, Тореза подала мне письма. Но что толку? Я просмотрел конверты, и ни один не был надписан той милой ручкой, которую хотелось бы мне видеть здесь, перелистывающей Вечельо. Я отбросил в сторону всю пачку, не говорившую мне больше ничего.

Апрель - июнь.

Дело было жаркое.

- Подождите, я обряжусь почище и сегодня еще пойду с вами, - сказала Тереза, - как в прошлые разы, возьму складной стул, и мы посидим на солнышке.

Право, Тереза считает меня немощным. Не спорю, я несомненно, болел, но всему бывает конец. Особа по имени Болезнь давно ушла, и вот уже три месяца, как ее спутница - Поправка, дама с бледным и приятным лицом, мило со мною распрощалась. Слушайся я своей экономки, я бы стал просто-напросто господином Арганом* и напоследок дней своих надел бы

себе на голову ночной колпак с лентами… Только не это! Я решил пойти один. Тереза решила иначе: в руках у нее складной стул, она желает мне сопутствовать.

____

* Арган - персонаж комедии Мольера “Мнимый больной” (1673) - богатый буржуа, который, отличаясь крайней мнительностью, постоянно кутается и пичкает себя лекарствами.

- Тереза, завтра мы будем сидеть на солнце, у стены “Маленького Прованса”, сколько вашей душе угодно. Но сегодня у меня спешные дела.

Дела! Она думает, что речь идет о деньгах, и толкует мне, что это не к спеху.

- Тем лучше! Но в нашем мире, кроме таких дел, бывают и другие.

Я молю, ропщу, спасаюсь бегством.

Погода довольно хорошая. Благодаря извозчику и божьему неоставленью я выполню свое намерение.

Вот и стена с надписью синими буквами: Женский пансион мадемуазель Виргинии Префер . Вот и решетчатые ворота, готовые широко распахнуться на парадный двор, если бы их отворяли. Но замок заржавел, и железные листы, прикрепленные к решетке изнутри, охраняют от нескромных взглядов юные души, которые мадемуазель Префер, ничтоже сумняшеся, наставляет в скромности, чистосердечии, справедливости и бескорыстии. Вот забранное решеткою окно с грязными стеклами - очевидно, в помещении для прислуги, - мутное и единственное око, открытое во внешний мир.

А вот и боковая дверца, куда я столько раз входил, теперь для меня запретная; я снова вижу ее решетчатый “глазок”. Каменный приступок к ней сносился, и я своими близорукими даже в очках глазами все же различаю те белые царапинки, какими его исчертили подбитые гвоздями ботинки проходивших учениц. Не могу ли пройти по нему и я? Мне кажется, что в этом угрюмом доме Жанна страдает и втайне зовет меня. Нет, мне нельзя уйти отсюда. Тревога овладевает мной; я звоню. Испуганная служанка отворяет дверь боязливее, чем когда-либо. Отдан приказ: мои свиданья с мадемуазель Жанной запрещаются. Я, по крайней мере, справляюсь о ее здоровье. Служанка, поглядев направо и налево, говорит мне, что Жанна здорова, и тут же захлопывает дверь перед моим носом. И я опять на улице. Как много раз с тех пор бродил я вдоль этой же стены и проходил мимо боковой дверки, пристыженный и сокрушенный мыслью, что я сам слабее того ребенка, у которого нет в мире другой поддержки, кроме меня.

10 июня.

Я превозмог в себе гадливость и отправился к мэтру Мушу. Прежде всего я обнаружил, что в конторе стало еще больше пыли и плесени, чем в прошлом году. Опять передо мной нотариус с его скупыми жестами и бегающими позади очков зрачками. Я приношу свои жалобы. Он отвечает… Но стоит ли в тетради, хотя бы и предназначенной к сожженью, закреплять воспоминание о пошлом негодяе? Он оправдывает мадемуазель Префер, так как давно оценил ее ум и характер. Воздерживаясь говорить по существу спора, он должен сказать, что внешняя сторона дела не в мою пользу. Это мало меня тревожит. Он добавляет (и это тревожит меня сильнее), что небольшая сумма, хранившаяся у него и предназначенная для воспитания его подопечной, уже исчерпана и он восхищен бескорыстием мадемуазель Префер, согласной держать у себя мадемуазель Жанну при настоящих обстоятельствах.

Чудесный свет, свет ясного дня, непорочною волной вливается в такое пакостное место и освещает такого человека; на улице он затопляет своим блеском все убожество густонаселенного квартала.

Как ласков этот свет, как давно он наполняет мои глаза и как скоро я перестану наслаждаться им! Погруженный в думы, заложив руки за спину, я бреду вдоль укреплений и, сам не знаю как, вдруг оказываюсь среди тощих палисадников в глухом предместье. На краю пыльной дороги мне встретилось растение с ярким и в то же время сумрачным цветком, как будто созданным для единенья с чистейшею и благороднейшею скорбью. Это аквилегия. Наши отцы звали ее перчаткой богородицы. Но богородица могла бы сунуть пальчики в узкие коробочки цветка, лишь превратив себя в малютку, чтобы явиться детям.

Вот толстый шмель хочет насильно протискаться в цветок; однако хоботок его не достигает до нектара, и старания лакомки напрасны. Наконец шмель отступается и вылетает весь обсыпанный пыльцой. И вновь летит своим тяжелым лётом, - но в предместье, загрязненном копотью заводов, цветы редки. Он возвращается к аквилегии и в этот раз, проткнув венчик, высасывает нектар через проделанное им отверстие; я не поверил бы такой смышлености шмеля. Это поразительно. Цветы и насекомые восхищают меня все больше, по мере того как я внимательнее наблюдаю их. Я уподобляюсь доброму Ролену*, который восторгался цветами своих персиковых деревьев. Мне бы хотелось иметь красивый сад и жить на лесной опушке.

---

* Ролен Шарль (1661 - 1741) - французский историк, автор труда о Древнем Риме.

Август - сентябрь.

У меня явилась мысль пойти воскресным утром и выждать час, когда воспитанницы мадемуазель Префер идут в приходскую церковь к обедне. Я видел, как они с серьезной миной прошли попарно, маленькие впереди.

Меж ними было три одинаково одетых, кругленьких, чванливых коротышки, и я признал в них барышень Мутон. Их старшая сестра - та самая художница, которая нарисовала страшную голову Тация, сабинского царя. Сбоку суетилась, хмуря брови, помощница начальницы с молитвенником в руке. Средний возраст, а за ним старший прошли шушукаясь. Но я не видел Жанны.

Спрашивал в министерстве народного просвещения, имеются ли в недрах его папок отзывы об учебном заведении по улице Демур. Я добился того, что туда послали инспектрис. Они вернулись и дали наилучший отзыв. По их заключению, пансион Префер может считаться образцовым. Если я потребую обследования, - мадемуазель Префер наверняка получит академические пальмы*.

---

* Академические пальмы - нагрудный знак, учрежденный в 1808 г . во Франции для награждения лиц, имеющих большие заслуги в области науки и искусства (лента), либо народного образования (розетка).

3 октября.

Сегодня четверг, отпускной день в пансионе, поэтому я встретил в начале улицы Демур трех барышень Мутон. Поклонившись их матери, я спросил у старшей, лет двенадцати, как поживает ее подруга мадемуазель Жанна Александр.

Барышня Мутон ответила мне одним духом:

- Жанна Александр - мне не подруга. Ее держат в пансионе из милости, а потому заставляют подметать классные комнаты. Так говорит мадемуазель.

Три барышни Мутон зашагали дальше, а г-жа Мутон двинулась за ними по пятам, окинув меня через снос объемистое плечо недоверчивым взглядом.

Увы! Я дошел до подозрительных поступков. Г-жа до Габри вернется в Париж не ранее чем через три месяца. Без нее у меня нет ни сообразительности, ни такта; я только неудобная, тяжелая и вредная машина.

Однако же нельзя терпеть, чтобы Жанна оставалась служанкой в пансионе и подвергалась оскорблениям со стороны нотариуса Муша.

28 декабря.

Погода была пасмурная и холодная. Стемнело. Я позвонил у боковой дверцы спокойно, как человек, которому уже ничто не страшно. Как только робкая служанка отворила, я сунул ей в руку золотой, пообещав такой же, если она даст мне возможность повидать мадемуазель Александр. Ответом было:

- Через час, у решетчатого окна.

И она захлопнула передо мной дверь с такою силой, что шляпа дрогнула у меня на голове.

Я добрый час прождал среди метели, затем подошел к окну. Ничего. Бушевал ветер, и густо падал снег. Рабочие с инструментом на плече, наклонив голову от густых хлопьев снега, шли мимо и наталкивались на меня. Ничего. Я опасался, что меня заметили. Я знал, что, подкупая служанку, поступал нехорошо, но нисколько не жалел об этом! Кто при нужде не умеет выйти из рамок общих правил - тот человек нестоящий. Прошло еще четверть часа. Ничего. Наконец окошко приоткрылось.

- Это вы, господин Бонар?

- Это вы, Жанна? В двух словах, что с вами?

- Чувствую себя хорошо, очень хорошо!

- Еще что?

- Меня поместили в кухне, и я подметаю классы.

- В кухне? Подметальщица? Боже милосердный!

- Да. Потому что опекун больше не платит за меня.

- Опекун ваш негодяй.

- Значит, вы знаете?

- Что?

- О, не вынуждайте меня говорить об этом. Лучше умереть, чем оказаться с ним вдвоем.

- Почему же вы мне не написали?

- За мной следили.

В один миг у меня согрело решение, и уже ничто не в силах было изменить его. Правда, мелькнула мысль, что я не вправе это делать, но эту мысль я презрел. Решившись, я стал благоразумен. Я начал действовать с исключительным спокойствием.

- Жанна, сообщается ли со двором та комната, где вы находитесь? - спросил я.

- Да.

- Вы можете сами отпереть дверь?

- Да, если никого нет в швейцарской.

- Идите поглядите и старайтесь, чтобы вас не увидели. Я стал ждать, наблюдая за дверью и окном.

Секунд через шесть-семь Жанна вновь появилась за решеткой. Наконец-

то!

- Служанка в швейцарской, - сказала она.

- Хорошо. Есть у вас чернила и перо?

- Нет.

- А карандаш?

- Есть.

- Просуньте его мне.

Я вынул из кармана старую газету и, несмотря на ветер, едва не задувавший фонари, и снег, слепивший мне глаза, смастерил, как мог, бандероль, адресованную мадемуазель Префер.

Надписывая адрес, я задал Жанне несколько вопросов.

- Когда приходит почтальон, он ведь опускает корреспонденцию в ящик и звонит? Прислуга открывает ящик и то, что там находит, сейчас же относит к мадемуазель Префер? Так делают при каждой разноске почты, да?

Жанна ответила, что, кажется, все происходит именно так.

- Увидим. Жанна, пойдите посмотрите еще раз и, как только служанка выйдет из швейцарской, отворяйте дверь и выходите на улицу.

С этими словами я сунул газету в ящик, резко позвонил и спрятался в соседнем подъезде.

Я пробыл там несколько минут. Вдруг дверца вздрогнула, слегка приотворилась, и в нее просунулась юная головка. Я охватил ее руками и привлек к себе:

- Идемте, Жанна, идемте.

Она тревожно смотрела на меня. Вероятно, она боялась, не сошел ли я с ума. Наоборот, я действовал с большим умом.

- Идемте, идемте, дитя мое.

- Куда?

- К госпоже де Габри.

Она подхватила меня под руку. Некоторое время мы бежали, точно воры. Бег - занятие, мало подходящее для человека моего телосложенья. Едва не задохнувшись, я остановился и оперся на нечто, оказавшееся жаровней продавца каштанов, который пристроился возле винной лавки, где пили извозчики. Один из них спросил, не требуется ли нам карета. Конечно! Нам требуется карета. Человек с кнутом, поставив стакан на оловянную стойку, влез на козлы и тронул лошадь. Мы были спасены.

- Ух! - воскликнул я, отирая лоб, ибо, несмотря па холод, пот с меня катился градом.

Странное дело: Жанна, по-видимому, лучше сознавала значенье только что содеянного нами. Она была очень серьезна и явно встревожена.

- В кухне! - воскликнул я с негодованьем.

Она покачала головой, как бы говоря: “Там или в другом месте, не все ли мне равно”. При свете фонарей я с болью в сердце увидал, как похудело и вытянулось ее личико. Я больше не находил той живости, тех резких порывов, того изменчивого выражения лица, которые так нравились мне в ней. Взгляд вялый, движенья связанные, вид угрюмый. Я взял ее за руку - руку жесткую, наболевшую и холодную. Бедняжка много выстрадала. На мои расспросы она спокойно рассказала, как мадемуазель Префер однажды вызвала ее к себе, обозвала ее чудовищем и гадюкой, а за что - неизвестно.

- Мадемуазель добавила: “Вы больше не увидите господина Бонара, который давал вам вредные советы и очень дурно поступил со мною”. Я ей ответила: “Этому, мадемуазель, я не поверю никогда”. Мадемуазель дала мне пощечину и отослала в класс. Весть, что я вас больше не увижу, окутала меня каким-то мраком. Вам знакомы вечера, когда бывает грустно от окружающей вас темноты? Так вот, представьте себе, что это длится недели, месяцы. Однажды я узнала, что вы говорите с начальницей в приемной; я вас подстерегла, и мы сказали друг другу “до свиданья”. Мне стало немного легче. Спустя некоторое время мой опекун приехал, чтобы

взять меня к себе на четверг. Я отказалась. Он очень мягко заметил, что я капризница, и оставил меня в покое. Но через день ко мне явилась мадемуазель Префер с таким злым видом, что я даже испугалась. В руках у ней было письмо. “Мадемуазель, - обратилась она ко мне, - ваш опекун ставит меня в известность, что ваши деньги пришли к концу. Не бойтесь: я не собираюсь выгонять вас, но полагаю, вы сочтете справедливым, что вам надо работать за свое содержание”.

После этого она заставила меня убирать в доме, а иногда по целым дням держала взаперти на чердаке. Вот, господин Бонар, что произошло, пока вы не бывали. Если бы я и могла писать вам - не знаю, стала ли бы я это делать: я не верила, чтоб вы могли взять меня из пансиона; а раз меня не принуждали ходить к господину Мушу, спешить было нечего. Ждать я могла и в кухне и на чердаке,

- Жанна, - воскликнул я, - хотя бы нам пришлось бежать даже в Океанию, мерзкая Префер вас больше не получит! Клянусь вам в том великой клятвой. А почему бы нам не поехать в Океанию? Климат там здоровый, в одном журнале я как-то видел, что там имеются даже фортепьяно. Покамест едем к госпоже де Габри, - на наше счастье, она дня три-четыре тому назад вернулась в Париж; мы оба младенцы, и нам очень нужна помощь.

Пока я говорил, лицо ее бледнело и темнело, взор затуманился, полуоткрытые губы стянула горестная складка. Она упала головой мне на плечо и потеряла сознание.

Я взял ее на руки и, как уснувшего ребенка, понес по лестнице к г-же де Габри. Выбившись из сил от усталости и волнения, я опустился на банкетку на площадке лестницы. Здесь Жанна скоро пришла в себя.

- Это вы! - сказала она, открывая глаза. - Я рада.

В таком состоянии мы постучались в двери нашего друга.

Пробило восемь часов. Г-жа де Габри радушно приняла ребенка и старика. Не подлежит сомненью, что она была изумлена, по она не расспрашивала нас.

- Мы оба пришли отдать себя под ваше покровительство, - сказал я. - И

прежде всего мы просим дать нам поужинать. По крайней мере - Жанне, а то сейчас, в карете, она от слабости упала в обморок. Мне же в такой поздний час нельзя съесть ни кусочка, иначе я проведу мучительную ночь. Надеюсь, господин де Габри здоров?

- Он дома, - ответила она.

И тотчас велела доложить ему о нашем приходе.

Я с удовольствием увидел его открытое лицо и пожал его большую руку. Все четверо мы перешли в столовую. И когда Жанне подали холодную говядину, к которой она не прикоснулась, я начал рассказ о нашем приключении. Поль де Габри попросил разрешения закурить трубку, затем стал молча меня слушать. Когда я кончил, он почесал в густой короткой бороде.

- Черт возьми! - воскликнул он. - В неприятную историю вы себя впутали, господин Бонар!

Заметив, что Жанна смотрит большими испуганными глазами то на него, то на меня, он мне сказал:

- Пойдемте.

Я последовал за ним в кабинет, где на темных обоях сверкали при свете ламп охотничьи ножи и карабины. Усадив меня на кожаный диван, он заговорил:

- Что вы наделали, что вы наделали, великий боже! Сманивание малолетних, похищение, увод! Веселенькое дельце навязали вы себе на шею. Вам угрожает ни много ни мало - тюремное заключение от пяти до десяти лет.

- Боже милосердный! - воскликнул я. - Десять лет тюрьмы за спасение невинного ребенка!

- Таков закон! - ответил г-н де Габри. - Видите ли, господин Бонар, законы я знаю довольно хорошо, - не потому, что проходил юриспруденцию, но в качестве люзанского мэра мне самому пришлось учиться, чтобы учить своих подчиненных. Муш - мерзавец, Префер -

пройдоха, а вы… не нахожу достаточно выразительного словца.

Раскрыв библиотечный шкаф, где лежали собачьи ошейники, хлысты, шпоры, стремена, сигарные ящики и несколько справочников, он вынул Уголовный кодекс и начал перелистывать:

- “Преступления и проступки… незаконное лишение свободы”… это не ваш случай. “Увод малолетних” - вот это ваш… “Статья триста пятьдесят четвертая. Всякий, кто обманом или силою уведет или подстрекнет увести малолетних, или же увлечет их за собой, сманит или переместит, или кого-либо подстрекнет увлечь, сманить или переместить с того места, куда они помещены лицами, коим они подчинены или вверены, подлежит наказанию тюремным заключением. Смотри Уголовный кодекс, статья двадцать первая и двадцать восьмая… Двадцать первая. - Срок заключения не менее пяти лет… Двадцать восьмая. - Приговор о тюремном заключении влечет за собой лишение прав состояния”. Ясно, не так, ли, господин Бонар?

- Совершенно ясно.

- Продолжим: “Статья триста пятьдесят шестая. - Если похитителю не исполнилось еще двадцати одного года, он наказуется только…” Это к вам не относится. “Статья триста пятьдесят седьмая. - В случае, если похититель женится на похищенной им девице, преследование против него может быть возбуждено только по жалобе тех лиц, кои, на основании Гражданского кодекса, имеют право требовать признания брака незаконным, и осуждение может иметь место только после окончательного постановления о расторжении брака”. Не знаю, входит ли в ваши планы женитьба на мадемуазель Александр. Как видите, свод законов - добрый малый и дает вам лазейку. Но шутки неуместны: положение ваше скверное. Как мог человек, подобный вам, вообразить, будто в Париже, в девятнадцатом веке, можно безнаказанно похищать юных девиц? У нас теперь не средние века, и умыкание не разрешается.

- Напрасно вы думаете, что умыкание было разрешено старинным правом, - ответил я. - Об этом вы найдете у Балюза повеление короля Хильдеберта, данное в Кельне в пятьсот девяносто третьем или пятьсот девяносто четвертом году. А кто не знает знаменитого указа, данного в Блуа в мае тысяча пятьсот семьдесят девятого года, категорически

устанавливающего, что тот, кто прельстит юношу или юницу моложе двадцати пяти лет браком или другим каким посулом, помимо желания, воли или нарочитого согласия отца, матери и опекунов, подлежит смертной казни! “А в равной мере… - прибавляет указ, - а в равной мере будут особливо наказаны все те, кто соучаствовал в означенном похищении, и все те, кто споспешествовал советом, подмогою и пособничеством, какого бы рода оно ни было”. Таковы точные или близкие к этому выражения указа. Сейчас вы ознакомили меня со статьей Наполеоновского кодекса, которая избавляет похитителя от преследования в случае его женитьбы на похищенной им девице, и я припоминаю, что в бретонском обычном праве похищение, в случае последующего брака, было ненаказуемо. Но этот обычай повел к злоупотреблениям и был отменен около тысяча семьсот двадцатого года. Последнюю дату я даю вам с точностью до десяти лет. Память моя стала плоха, и миновали времена, когда я мог без передышки наизусть продекламировать полторы тысячи стихов “Жерара Руссильонского”*. О капитулярии** Карла Великого, устанавливающем виру за умыкание, я вам не говорю, ибо, наверно, он у вас на памяти. Вы видите, дорогой господин де Габри, что при трех династиях старой Франции умыкание рассматривалось как преступление наказуемое. Большая ошибка думать, будто средние века были эпохою хаоса. Наоборот, вы убедитесь…

---

* “Жерар Русильонский” - средневековая эпическая поэма на франко-провансальском диалекте; записана около 1170 г .

** Капитулярий - королевский указ; термин употреблялся в раннефеодальную эпоху (VIII - X вв.).

Господин де Габри прервал меня, воскликнув:

- Вы знаете указы Блуа, Балюза, Хильдеберта и капитулярии, а не знаете кодекса Наполеона*!

---

* Кодекс Наполеона - Гражданский кодекс, то есть свод законов, введенный в 1804 г . и юридически закрепивший победу буржуазных отношений во Франции. Лег в основу последующего французского законодательства.

Я ответил, что этого кодекса действительно не читал никогда, и г-н де Габри, видимо, был этим поражен.

- Понимаете ли вы теперь все значение того, что вы сделали?

По правде говоря, я еще не понимал. Но мало-помалу, благодаря весьма толковым разъяснениям г-на Поля, я пришел к сознанию, что меня будут судить не по моим намерениям, которые невинны, а по моему деянию, заслуживающему осуждения. Тогда я впал в отчаянье и стал сокрушаться.

- Что же делать?! - воскликнул я. - Что делать?! Неужели я погиб безвозвратно и погубил вместе с собою бедную девочку, желая ее спасти?

Господин де Габри молча набил трубку и зажигал ее так медленно, что его доброе широкое лицо минуты три-четыре светилось красным отблеском, как у кузнеца перед кузнечным горном. Затем он произнес:

- Вы спрашиваете, что делать. Не делайте ничего, дорогой господин Бонар. Ради бога и вашей пользы, не делайте ничего. Ваши дела и так плохи, не путайтесь в них сами, а то наделаете новых бед. Обещайте только отвечать за все, что буду делать я. Завтра с утра я повидаю мэтра Муша, и если он, как мы и думаем, подлец, я найду средство обезвредить его, хотя бы в это замешался сам черт. Все зависит от Муша. Сейчас уже поздно отвозить мадемуазель Жанну обратно в пансион, и на эту ночь моя жена возьмет ее к себе. Вот это именно и есть соучастие в преступлении, но мы таким образом избавляем девушку от двусмысленного положения. Вы же, дорогой, возвращайтесь поскорее на набережную Малакэ, и если

туда придут за Жанной, вам будет нетрудно доказать, что у вас ее нет.

Пока мы разговаривали, г-жа де Габри хлопотала, чтобы уложить спать свою гостью. Я видел, как по коридору прошла горничная, перекинув через руку простыни, надушенные лавандой.

- Вот нежный и благородный запах, - заметил я.

- Как же иначе? Мы ведь деревенские жители, - ответила мне г-жа де Габри.

- О! Если бы и я мог стать деревенским жителем! - ответил я. - Удастся ли когда-нибудь и мне вдыхать, подобно вам в Люзансе, запахи полей, живя под кровлей, затерявшейся в листве! А если это пожеланье слишком притязательно для старика, оканчивающего жизнь, я хочу по крайней мере, чтоб мой саван был надушен лавандой, как эти простыни.

Мы условились, что наутро я приду к ним завтракать. Однако мне строго запретили являться раньше двенадцати. Жанна, обнимая меня, молила не отвозить ее обратно в пансион. Мы расстались растроганные и смущенные.

У себя дома, на площадке лестницы, я застал Терезу в состоянии тревоги, доводившей ее до ярости. Она высказывала ни много ни мало, как мысль о том, чтобы впредь запирать меня на ключ.

Какую ночь провел я! Ни на одно мгновенье я не сомкнул глаз. То я смеялся, как мальчишка, удаче моей проделки, то видел с неизъяснимою тоской, как меня тащат в суд и как, сидя на скамье подсудимых, я держу ответ за преступленье, которое я совершил столь естественно. Я был в ужасе, и все же не чувствовал ни укоров совести, ни сожалений. Солнце заглянуло ко мне в комнату и весело играло на изножий кровати, а я сотворил молитву:

- Боже, создавший небо и росу, как сказано в “Тристане”*, суди меня в праведности твоей не по деяниям, а по замышлениям моим, праведным и чистым, - и я воскликну: “Слава в вышних богу, и на земле мир и в человецех благоволение! В руки твои предаю похищенное мною дитя! Соверши то, чего не мог совершить я: сохрани его от всех врагов. И да благословенно будет имя твое!”

---

* “Тристан” - то есть французский средневековый рыцарский роман о любви Тристана и Изольды (одна из многочисленных литературных обработок этой кельтской легенды).

29 декабря.

Войдя к г-же де Габри, я увидел Жанну совсем преобразившейся.

Не взывала ли она, как я, при первых утренних лучах к тому, кто создал небо и росу? Сладость душевного покоя была в ее улыбке.

Госпожа де Габри позвала Жанну, чтобы закончить ее прическу, ибо милая хозяйка захотела уложить собственноручно волосы доверенному ей ребенку. Придя немного ранее условленного часа, я помешал завершить ее прелестный туалет. В наказание меня заставили одного ждать в гостиной. Вскоре ко мне присоединился г-н де Габри. Он, видимо, пришел из города, ибо на лбу его остался след от шляпы. Лицо выражало радостное оживленье. Я не счел удобным задавать ему вопросы, и мы все вместе пошли завтракать. Когда слуги кончили подавать на стол, г-н Поль, приберегавший свой рассказ до кофе, сказал нам:

- Итак, я был в Левалуа.

- Вы видели мэтра Муша? - оживленно спросила г-жа де Габри.

- Нет! - ответил он, приглядываясь к нашим лицам, выказавшим разочарованье.

Нагладившись пристойное время нашим беспокойством, этот чудесный человек добавил:

- Мэтра Муша больше пет в Левалуа. Мэтр Муш покинул Францию. Послезавтра будет недоля, как он улепетнул, прихватив с собою деньги своих клиентов, - довольно кругленькую сумму. Контора оказалась запертой. Об этом событии мне рассказала его соседка, с немалым количеством проклятий и всяких пожеланий. Нотариус сел в поезд, отходивший в семь часов пятьдесят пять минут, и сел не один: он увез с собой дочь местного парикмахера. Этот факт мне подтвердил и полицейский комиссар. Поистине, мог ли мэтр Муш убраться более кстати?! Задержись он на неделю - и в качестве представителя общества он потянул бы вас, господин Бонар, в суд как преступника. Теперь нам нечего бояться. За здоровье мэтра Муша! - воскликнул он, наливая арманьяк.

Мне бы хотелось жить подольше, чтоб долго помнить это утро. Мы сидели вчетвером в большой белой столовой за столом из навощенного дуба. У г-на Поля веселость здоровая, чуть даже грубоватая, и он пил арманьяк большими глотками. Молодчина! Г-жа де Габри и мадемуазель Александр мне улыбнулись, и эта улыбка вознаградила меня за мои страдания.

Войдя к себе в квартиру, я подвергся самым язвительным упрекам Терезы, которая отказывалась понимать мой новый образ жизни. Я, по ее мнению, выжил из ума.

- Да, Тереза, я безумный старик, а вы безумная старуха. Все это верно. Да поможет нам бог, Тереза, даровав нам новые силы, ибо у нас есть новые обязанности. Но дайте полежать мне на этом канапе, стоять я больше не могу.

15 января 1877 года.

- Здравствуйте, господин Бонар, - говорит Жанна, отворяя мне дверь, в то время как запоздавшая Тереза ворчит во мраке коридора.

- Мадемуазель, прошу вас величать меня торжественно моим званием и говорить мне: “Здравствуйте, мой опекун”.

- Все устроилось? Уже? Какое счастье! - восклицает Жанна, хлопая в ладоши.

- Устроилось, мадемуазель, в городском присутствии, перед мировым судьей, и с сего дня вы подчиняетесь моей власти… Вы смеетесь, моя питомица? Я вижу по вашим глазкам: какая-то сумасбродная мысль мелькает в вашей головке. Новое чудачество?

- О нет, господин… опекун. Я поглядела на ваши седые волосы. Они вьются по полям вашей шляпы, как жимолость по балкону; они очень красивы, и так мне нравятся.

- Сядьте, моя питомица, и, если можно, не говорите больше пустяков; у меня с вамп будет серьезный разговор. Выслушайте меня. Я думаю, вы не стремитесь вернуться к мадемуазель Префер?.. Нет. А что бы вы сказали, если бы для завершения вашего образования я вас оставил здесь до… а до чего? Ну, как говорится, навсегда.

- О! - воскликнула она, покраснев от радости. Я продолжал:

- Там, позади, есть маленькая комнатка, и Тереза приготовила ее для вас. Вы замените там старинные книги, как день сменяет ночь. Пойдите с Терезой посмотреть, годится ли комната для жилья. С госпожой де Габри мы сговорились, что уже сегодня вы ляжете спать в той комнате.

Она бросилась туда, но я вернул ее.

- Слушайте дальше, Жанна. До сей поры вам удавалось быть желанной гостьей в глазах моей домоправительницы, хотя по своему нраву она, как все старики, довольно нелюдима. Считайтесь с ней. Я сам почел за должное считаться с ней и терпеть ее выходки. Советую вам, Жанна, уважать ее. Говоря так, я не забываю, что она служанка моя и ваша, но этого она но забудет и сама. А вы должны уважать в ней ее почтенный возраст и честную душу. Это скромное существо долго жило достойным образом и с этим свыклось. Терпите непреклонность этой прямой души. Умейте приказывать; она сумеет повиноваться. Ступайте, дочь моя. Устройте вашу комнату, как вам покажется удобным для труда и отдыха.

Направив Жанну таким напутствием по стезе хорошей хозяйки, я принялся за чтение одного журнала, хотя руководимого и молодыми

людьми, но отличного. Тон его резкий, но дух ревностный. Статья, прочитанная мной, по своей решительности и твердости превосходит все, что писалось в дни моей юности. Поль Мейер*, автор статьи, смело клеймит каждую ошибку.

---

* Поль Мейер (1840 - 1917) - французский ученый-филолог, изучавший культуру средневековья.

Мы не были такими безжалостными судьями. Наша снисходительность шла далеко. Она была готова хвалить заодно и ученого и невежду. А надо уметь порицать, это суровый долг. Я вспоминаю маленького Раймона (так его звали). Он ничего не знал, был крайне ограничен, но очень любил свою мать. Мы старались не выдавать невежество и тупость такого хорошего сына, и благодаря нашей снисходительности маленький Раймон стал академиком. Матери его уже не было в живых, а почести сыпались на него дождем. Он стал всемогущ, к великому ущербу своих собратий и науки. Но вот пришел мой юный друг по Люксембургскому саду.

- Добрый вечер, Жели. Вид у вас сегодня радостный. Что с вами произошло, дорогой мой юноша?

Произошло то, что он весьма прилично защитил диссертацию и числится на хорошем счету. Вот о чем ставит он меня в известность, добавляя, что мои работы, когда о них шла речь на этом заседании, вызывали у профессоров безоговорочные похвалы.

- Вот и отлично, Жели; я счастлив, что моя старая репутация соединяется с вашей молодой известностью. Вы знаете, я живо интересовался вашей диссертацией, но за домашними делами забыл, что защищали вы ее сегодня.

Мадемуазель Жанна как раз явилась осведомить его насчет этих

домашних дел. Шалунья впорхнула легким ветерком в обитель книг, воскликнув, что ее комната - просто чудо! Увидав Жели, она густо покраснела. Но от судьбы своей не уходил еще никто.

Я подметил, что оба в этот раз застенчивы и не разговаривают друг с другом.

Тише, Сильвестр Бонар! Наблюдая за своей питомицей, вы забываете, что теперь вы опекун. Вы им являетесь с сегодняшнего утра, и новая должность уже налагает на вас щекотливые обязанности. Бонар, вы обязаны ловко устранить этого молодого человека, вы обязаны… Э! разве я знаю, что обязан делать?..

Жели делает выписки из моего уникального экземпляра “Ginevera delle clare donne”*. Я наудачу взял с ближайшей полки книгу, - раскрываю ее и с благоговением вступаю в середину трагедии Софокла. Старея, я проникаюсь любовью к двум мирам античности, и отныне поэты Греции и Рима стоят в обители книг на высоте моей руки. Я читаю слова сладостного и светозарного хора, текущие медленным речитативом среди бурного действия, - хора фиванских старцев “???? ???????…”**. “Эрот непобедимый, ты залетаешь в богатые дома, покоишься на нежных щеках юной девы, летишь через моря и посещаешь хижины, тебя не избежит бессмертный, как не избегнет ни единый человек в его быстротекущей жизни; и всяк безумствует, тобою одержимый”. Когда прочел я эту пленительную песню, передо мною встала фигура Антигоны в ее ненарушимой чистоте.

---

* “Жизнеописание знаменитых женщин” (итал.).

** Эрот непобедимый (греч.). - цитата из трагедии Софокла “Антигона” (третий стасим); хор прославляет бога любви Эрота. Далее упоминается сюжет трагедии Софокла “Эдип в Колоне”, где изображены скитания слепого Эдипа и его смерть.

Какие образы, какие боги и богини носились в небе, чистейшем из небес! Слепой старец, царь-нищий, долго бродил, держась за Антигону, и, наконец, сошел в священную гробницу, а дочь его, прекрасная, как все прекраснейшие образы, когда-либо зачатые человеческой душой, противится тирану и благочестиво погребает брата. Она любит сына тирана, а сын любит ее. И когда она идет на казнь, постигшую ее за благочестье, старцы поют:

Эрот непобедимый, ты залетаешь в богатые дома, покоишься

на нежных щеках юной девы…

Я не эгоист. Я мудр. Мне нужно воспитать эту девушку; она слишком юна, чтобы выдать ее замуж. Нет, я не эгоист, но нужно подержать ее несколько лет у себя, только со мной. Разве она не может подождать до моей смерти? Будьте покойны, Антигона, старый Эдип вовремя сойдет в священную гробницу.

А сейчас Антигона помогает Терезе чистить репу. Она говорит, что это занятие подходит ей, так как оно родственно скульптуре.

Май.

Кто бы узнал обитель книг? Теперь везде стоят цветы. Жанна права: в голубой фаянсовой вазе эти розы очень красивы. Они с Терезой каждый день ходят на рынок и покупают там цветы. Цветы действительно очаровательные создания природы. Надо будет осуществить мое намеренье и там, в деревне, изучить их со всей той методичностью, на какую я способен.

А что мне делать здесь? Погубить вконец глаза старинными пергаментами, которые мне ничего ценного уже не говорят? Когда-то с благородным пылом я рылся в древних текстах. Что же надеялся я там найти? Дату благочестивого вклада, имя монаха-изографа* или писца, стоимость хлеба, поля или вола, административное или судебное постановление, - все это, по и другое - нечто таинственное, смутное и возвышенное, то, что подогревало мое воодушевление. Но шестьдесят лет искал я это “нечто” и не мог найти. Те, кто стоили больше меня, - учителя, великие Фориели и Тьерри**, открывшие так много, - умерли в работе, также не открыв это “нечто”, безыменное и бестелесное, но без чего здесь, на земле, не зачалось бы ни одно творение ума. Теперь, благоразумно разыскивая только то, что я могу найти, я больше ничего не нахожу и, вероятно, никогда не кончу “Историю аббатов Сен-Шермен-де-Пре”.

---

* Изограф - писец, воспроизводящий все особенности древней рукописи вплоть до заставок, буквиц и рисунков.

** …великие Фориели и Тьерри. - Фориель Клод (1772 - 1844) и Тьерри Огюстен (1795 - 1856) - французские ученые-историки буржуазно-либерального направления.

- Опекун, угадайте, что у меня в носовом платке?

- По всей видимости, цветы, Жанна?

- О нет, не цветы. Смотрите!

Я смотрю и вижу маленькую серую головку, вылезающую из платка. Это серый котенок. Платок раскрывается, котенок прыгает на ковер, отряхивается, поднимает одно ухо, потом другое и настороженно изучает обстановку и людей.

Еле переводя дыхание, является Тереза с корзинкой на руке. Скрытность не ее порок; она в запальчивости упрекает барышню за то, что та приносит в дом неведомую кошку. В оправданье Жанна рассказывает, “как все это вышло”. Проходя вместе с Терезой мимо аптеки, она видит, что аптекарский ученик пинком выкидывает на улицу котенка. Котенок, в изумлении и замешательстве, спрашивает себя: остаться ли ему на улице, среди прохожих, которые его толкают и пугают, или вернуться в аптеку, рискуя снова вылететь оттуда на кончике ботинка? Жанна считает положение котенка критическим и понимает причину замешательства. Вид у котенка глупый; она думает, что этому виною нерешительность. Она берет его на руки. Не чувствуя себя покойно ни на улице, ни в помещений, он соглашается остаться на руках в пространстве. Успокоив его лаской, Жанна говорит аптекарскому ученику:

- Если котенок вам не нравится, то не надо бить его, лучше отдайте мне.

- Берите, - отвечает аптекарь.

- И вот… - добавляет в заключение Жанна.

И ласковым голосом она обещает котенку всяческие лакомства.

- Он очень худ, - говорю я, разглядывая это жалкое создание, - к тому же очень некрасив.

Жанна не находит его некрасивым, но признает, что вид у него еще глупее прежнего, - на этот раз не вследствие нерешительности; по ее мнению, такое досадное выраженье запечатлелось на его физиономии от удивления. Если бы мы поставили себя на его место, думает она, то согласились бы, что ему трудно понять что-нибудь в превратностях своей судьбы. Мы смеемся бедному животному в глаза, но оно продолжает быть комически серьезным. Жанна намеревается взять котенка на руки, но он прячется под стол и не хочет вылезать оттуда, даже увидев блюдце с молоком.

Мы уходим; блюдце пусто.

- Жанна, у вашего питомца вид плачевный, нрава он скрытного; хорошо, если в обители книг он не наделает таких дел, что придется возвратить его в аптеку. Пока же необходима дать ему какое-нибудь имя. Я предлагаю

назвать его Дон Гри де Гутьер*, но это, пожалуй, длинновато. “Пилюля”, “Пластырь” или “Касторка” короче, да и лучше тем, что напоминает о его происхождении. Как вы скажете?

____

* Дон Серый из водосточного желоба (франц.).

- “Пилюля” подошло бы, - ответила Жанна, - но великодушно ли, называя его таким именем, все время напоминать ему о тех несчастьях, от которых мы его избавили? Это значит заставлять его платить за наше гостеприимство. Будем милостивее и дадим ему красивое имя в надежде, что он его заслужит. Смотрите, как он глядит на нас: он видит, что речь идет о нем. Он уже не так глуп с тех пор, как перестал чувствовать себя несчастным. От несчастия глупеешь, я это знаю хорошо.

- Ну что ж, если хотите, Жанна, назовем вашего любимца Ганнибалом. Вам сразу не понять, насколько удачно это имя. Но надо заметить, что его предшественник в обители книг - ангорский кот, с которым я обычно делился своими мыслями, как с мудрой, неболтливой личностью, - звался Гамилькаром. Естественно, что это имя родит другое, и Ганнибал сменяет Гамилькара.

На этом мы и согласились.

- Ганнибал! Поди сюда! - крикнула Жанна.

Ганнибал, испугавшись необычной звучности своего собственного имени, забился под книжный шкаф - в такое узкое пространство, что там не поместилась бы и крыса.

Вот как достойно носят великое имя!

Сегодня я был в настроении работать и окунул уже в чернильницу

кончик пера, как вдруг послышался звонок. Если впоследствии какой-нибудь бездельник станет читать эти листы, измаранные стариком без воображенья, он будет смеяться над тем, что в моем рассказе то и дело раздаются звонки, не вводя при этом в действие ни нового лица, ни нежданной сцены. В театре - как раз наоборот. Господин Скриб всегда отворяет двери* с умыслом, для вящего удовольствия барышень и дам. Это искусство. Я бы скорее повесился, чем написал бы водевиль, - не из презрения к жизни, а по той причине, что не мог бы выдумать ничего завлекательного. Выдумать! Для этого необходимо таинственное наитие. А для меня бы дар такого рода стал роковым. Представьте себе, что я вдруг выдумаю какого-нибудь монашка в своей истории аббатов Сен-Жермен-де-Пре. Что бы сказали молодые ученые? Какой скандал в Архивной школе! Вот Академия не скажет ничего, да и подумает не больше. Мои собратья пишут мало, а читают еще меньше. Они придерживаются мнения Парни**, который говорил:

---

* Господин Скриб всегда отворяет двери с умыслом… - Французский драматург Огюстен-Эжен Скриб (1791 - 1861), чрезвычайно популярный во времена Сильвестра Бонара, упомянут здесь как мастер строить искусственные и неожиданные театральные эффекты.

** Парни Эварист-Дезире (1753 - 1814) - французский поэт, в чьем творчестве большое место занимают эпикурейские мотивы.

Да, жить в покое безразличья -

Высокой мудрости удел.

Жить возможно незаметнее, чтобы жить возможно лучше, - вот чего добиваются эти подсознательные буддисты. Мудрее этой мудрости,

пожалуй, нет. Все это по поводу звонка Жели.

Этот молодой человек совершенно изменил характер своего поведения. Теперь степенность сменила легкомыслие, а молчаливость - болтовню. Жанна следует его примеру. Мы находимся в периоде сдерживаемой страсти. Как я ни стар, но в этом я не ошибаюсь: дети любят друг друга сильно и глубоко. Теперь Жанна стала избегать Жели и прячется в свою комнату, когда он входит в библиотеку. Но как она умеет находить его в себе самой, когда она одна! Уединяясь каждый вечер, она с ним говорит своей игрой на фортепьяно в стремительном трепещущем звучании, этом новом выраженье обновленной ее души.

Что ж! Отчего и не сказать? Отчего не признаться в своей слабости? Если я скрою от себя свой эгоизм, станет ли он менее достоин порицанья? Итак, скажу: да, я ждал другого; да, я рассчитывал беречь ее для одного себя, как свое дитя, как внучку, - не навсегда, и даже не долго, но все же несколько лет. Я стар. Разве не могла б она повременить? Кто знает, с помощью подагры и артрита я, может быть, не слишком злоупотребил бы ее терпеньем? Вот чего я желал, на что надеялся. Свои расчеты я делал без нее и без этого молодого вертопраха. Расчет мой оказался плох, но просчет от этого не менее жесток. Впрочем, мне кажется, друг мой Сильвестр Бонар, ты осуждаешь себя довольно легкомысленно. Если тебе хотелось сохранить эту девицу при себе еще несколько лет, то это было столь же в ее интересах, как и в твоих. Ей нужно многому учиться, а ты ведь не такой учитель, чтоб им пренебрегать. Когда нотарий Муш, впоследствии так кстати занявшийся мошенничеством, почтил тебя своим визитом, ты с жаром увлекшейся души изложил ему свою систему воспитанья. И все старания твои были направлены на то, чтобы осуществлять эту систему. Жанна - неблагодарная, а Жели - прелестник.

Однако же, раз я не выгоняю его вон, что было бы невежливо и гадко, моя обязанность принять его; уже довольно долго сидит он в маленькой гостиной против севрских ваз, милостиво подаренных мне королем Луи-Филиппом. Хотя по их фарфору написаны “Жнецы” и “Рыбаки” Леопольда Робера, Жанна и Жели единодушно находят эти вазы отвратительными.

- Дорогой юноша, простите, что я не сразу принял вас. Я заканчивал работу.

Я говорю правду: размышление - это работа. Но Жели понимает иначе, он думает, что дело идет об археологии, и желает мне закончить поскорее “Историю аббатов Сен-Жермен-де-Пре”. И только доказав свой интерес ко мне, он наконец спрашивает, как поживает мадемуазель Александр. Я отвечаю: “Очень хорошо”, но сухим тоном, чтобы подчеркнуть мой нравственный авторитет опекуна.

После минутного молчания мы беседуем о школе, о новых книгах и об успехах исторических наук. Мы вдаемся в общие места. Общие места - удобное прибежище. Я стараюсь привить Жели хотя немного уваженья к тому поколению историков, к которому я сам принадлежу. Я говорю ему:

- История была искусством и допускала всякие причуды воображения, а в наше время она стала наукой, где нужно действовать строго методически.

Жели просит разрешенья не согласиться с моим взглядом. Он заявляет, что, по его мнению, история не наука и не станет ею никогда.

- Прежде всего, - говорит он, - что такое история? Письменное изображение событий прошлого. Но что такое событие? Что это - любой факт? “Ни в коем случае! - говорите вы. - Это факт достопримечательный”. А как же судит историк, является ли факт достопримечательным или нет? Он судит произвольно, следуя своему вкусу, прихоти, представлению, - словом, как художник; ведь факты по своей собственной природе не делятся на исторические и неисторические. Кроме того, факт есть нечто крайне сложное. Сможет ли историк представить факты во всей их сложности? Нет, это невозможно. Он их представит, отбросив большинство тех частностей, из коих они и состоят, а следовательно - урезанными, искалеченными и непохожими на то, чем они были. О связи же между фактами не приходится и говорить. Если факт, именуемый историческим, подготовлен, - что возможно, - одним пли несколькими фактами неисторическими и в качестве таковых неизвестными, - скажите, пожалуйста, какое у историка есть средство определить взаимоотношения всех этих фактов? И, при всем этом, господин Бонар, я еще предполагаю, что у историка перед глазами свидетельства бесспорные, в действительности же он верит тому или другому свидетелю, руководясь только чутьем. История не наука; это искусство, и преуспеть в ней можно лишь воображеньем.

В этот момент Жели напоминает мне того юного безумца, который некогда рассуждал при мне вкривь и вкось у статуи Маргариты Наваррской в Люксембургском саду. Вот на одном из поворотов разговора мы сталкиваемся носом к носу с Вальтером Скоттом, но мой юный отрицатель рассматривает его как личность “старомодную”, как “трубадура”, как “фигурку с бронзовых часов”. Это его собственные выражения.

- Однако, - говорю я, разгоряченный защитой славного отца Люции и Пертской красавицы*, - в его чудесных романах все прошлое живет; это - история, это - эпопея!

____

* …отца Люции и Пертской красавицы… - Имеется в виду писатель Вальтер Скотт (1771 - 1832). Люция - героиня его романа “Ламмермурская невеста” (1819); роман “Пертская красавица” вышел в 1828 г .

- Старая рухлядь, - заявляет Жели.

Поверите ль, этот несмышленыш утверждает, будто ни один ученый не может представить себе точно, как жили люди за пять-шесть веков до нас, потому что с большим трудом себе рисуешь, какие они были десять - пятнадцать лет тому назад. Для него историческая поэма, исторический роман, историческая живопись - отвратительно фальшивый жанр!

- Во всех искусствах художник изображает только свою Душу, - добавляет Жели, - и в какой бы костюм ни одевал он свое творение, оно по духу современно художнику. Чему дивимся мы в “Божественной Комедии”, как не великой душе Данте? Что в мраморах Микеланджело необычайно, как не сама личность Микеланджело? Художник либо отдает своим твореньям собственную жизнь, либо вырезает марионеток и одевает кукол.

Сколько парадоксов и непочтительности! Но дерзновенья молодежи

меня не огорчают. Жели встает и вновь садится; я отлично знаю, чем он озабочен и кого он ждет. Вот он говорит мне о своем заработке в полторы тысячи франков, к которому надо прибавить доход в две тысячи, полученный в наследство. Меня не проведешь такою откровенностью. Я знаю хорошо: все эти расчеты он преподносит, желая осведомить меня, что человек он установившийся, порядливый, пристроенный, с доходом, - одним словом: годен для женитьбы. Что и требовалось доказать, как говорят геометры.

Раз двадцать он вставал и вновь садился. В двадцать первый он поднимается и, не дождавшись Жанны, уходит огорченный.

Как только он ушел, Жанна является в обитель книг, якобы присмотреть за Ганнибалом. Она огорчена и жалостным голосом зовет своего любимца, чтобы дать ему молока. Узри печальный лик, Бонар! Смотри, тиран, на дело рук своих! Ты разлучил их, но лик у них един; и ты по одинаковому выраженью видишь, что, невзирая на тебя, они едины в мыслях. Будь счастлив, Кассандр! Возвеселись, Бартоло*! Вот что значит быть опекуном! Взгляните на нее: став на колени, она руками держит головку Ганнибала.

____

* Будь счастлив, Кассандр! Возвеселись, Бартоло! - Кассандр - традиционный персонаж старинной итальянской комедии: подозрительный старик, которого обманывают молодые влюбленные. Бартоло - персонаж комедии Бомарше “Севильский цирюльник” (1775), ревнивый и обманутый опекун Розины.

Да! Ласкай это глупое животное! Жалей его! Вздыхай над ним! Нам ведомо, коварная, куда стремятся ваши вздохи и что причиной ваших жалоб.

Все это - картина, и я смотрю на нее долго; взглянув затем на

библиотеку, я говорю:

- Жанна, мне наскучили эти книги; давайте продадим их.

20 сентября.

Кончено: они помолвлены. Жели сирота, как и Жанна, и просит у меня ее руки через своего профессора, моего коллегу, высокочтимого за свои знания и свой характер. Но, праведное небо, что это за посланец любви! Медведь - не пиренейский, а кабинетный; а эта разновидность еще страшнее.

- Правильно это или неправильно (по-моему, неправильно), но Жели не придает значения приданому; он вашу питомицу берет в одной сорочке. Скажите - да, и конец делу. Только поскорее, а то мне хочется вам показать лотарингские жетоны, довольно любопытные, каких вы и не видывали, я в том уверен.

Вот точные его слова. Я отвечал, что поговорю с Жанной, и тут же с немалым удовольствием заявил ему, что моя питомица с приданым.

Вот оно, приданое, - моя библиотека! Анри и Жанна бесконечно далеки от подозрений на этот счет, вообще же меня считают богаче, чем я есть, - это факт. У меня вид старого скупца. Вид, разумеется, весьма обманчивый, но благодаря ему я пользуюсь большим уважением. Никого на свете не уважают так, как скаредного богача.

Я говорил с Жанной, но разве нужно было мне выслушивать ее, чтобы услыхать ее ответ! Кончено! Они помолвлены.

Ни с характером, ни с обликом моим не вяжется - подсматривать за этой юной парой, чтобы потом записывать их слова и поступки. Noli me tangere* - вот требование истинной любви. Я знаю свой долг - уважать тайну девственной души, о коей я векусь. Пусть эти дети друг друга любят! Ничто из долгих излияний, ничто из их невинных безрассудств не отразится в тетради старого опекуна, чья власть была легка и длилась так

недолго!

---

* Не тронь меня (лат.).

Впрочем, я не сижу сложивши руки: у них свои дела, а у меня свои. Я самолично составляю каталог моей библиотеки, имея в виду продать ее с аукциона. Эта работа меня и огорчает и занимает. Я тяну ее, быть может, дольше, чем это требуется, и перелистываю без необходимости и пользы все эти экземпляры, столь дорогие моей мысли, моим глазам, моей руке. Это - прощанье, а в природе человека всех времен было - длить прощанье.

Вот толстый том; за тридцать лет он столько мне служил в работе, - могу ли я расстаться с ним без должного почтенья, как к старому слуге? А этот укреплял меня своею здравою доктриной, - разве я не обязан напоследок приветствовать его, как своего учителя? Но всякий раз, когда мне попадается том, который ввел меня в ошибку иль огорчил меня неверной датой, пробелом, ложью и прочими напастями в археологии, - я говорю с горькой радостью: “Прочь, прочь от меня, предатель, обманщик, лжесвидетель, уйди подальше, vade retro* - пусть ты, напрасно оцененный на вес золота из-за твоей ложной, ворованной известности и красивого сафьянового одеянья, - пусть ты войдешь в витрину биржевого маклера-библиомана: тебе его не совратить, ибо он читать тебя не будет”.

---

* Начало фразы из Евангелия: “Изыди, сатана” (лат.).

Книги, подаренные мне на память, я отложил, чтобы сохранить их навсегда. Когда я ставил в этот ряд и рукопись Златой легенды, мне захотелось ее поцеловать в воспоминанье о княгине Треповой, которая, даже возвысившись и разбогатев, осталась мне признательной и, в качестве моей должницы, явилась моею благодетельницей. Итак, у меня есть неприкосновенный фонд. Вот когда познал я преступленье! По ночам меня обуревали всякие соблазны, к рассвету они делались непреодолимы. И пока все в доме спали, я вставал и крадучись выходил из спальни.

Силы тьмы, виденья ночи, если бы, задержавшись у меня и после крика петуха, вы посмотрели, как я на цыпочках тихонько крадусь в обитель книг, вы б не воскликнули, подобно княгине Треповой в Неаполе: “У этого старика добрая спина!” Я входил; Ганнибал, выпрямив струною хвост, терся о мои ноги. Я хватал с полки том, какой-нибудь почтенный средневековый экземпляр или благородного поэта Ренесеанса, - драгоценность, сокровище, снившееся мне всю ночь, - я уносил его и втискивал в глубь шкафа с заповедными творениями, уже набитого битком. Страшно сказать: я крал приданое у Жанны. И, совершив такое преступленье, я бодро принимался за составление каталога, пока не приходила ко мне Жанна посовещаться относительно какой-нибудь детали приданого или туалета. Я никогда не мог взять и толк, о чем шла речь, по незнакомству с современной портняжной и белошвейной терминологией. Вот если бы невеста XIV века чудом пришла поговорить со мной о тряпках - в добрый час! Я понял бы ее язык. Но Жанна - не моей эпохи; я отсылаю мою питомицу к г-же де Габри, которая ей заменяет мать.

Ночь наступает, ночь настала! Облокотясь о подоконник, мы смотрим в темное широкое пространство, усеянное светящимися точками. Жанна, склонясь на перила, рукою охватила лоб, - вид у нее печальный. Я слежу за ней и говорю себе: “В каждой перемене, даже самой желанной, есть своя грусть, ибо то, с чем мы расстаемся, - часть нас самих; нужно умереть для одной жизни, чтобы войти в другую”.

Словно отвечая на мою мысль, Жанна говорит:

- Милый опекун, я очень счастлива, а все же так хочется поплакать!

21 августа 1882 года.

Страница восемьдесят седьмая… Еще строк двадцать, и моя книга о насекомых и растениях закончена. Страница восемьдесят седьмая, и последняя…

”Как мы видели, насекомые имеют огромное значение в жизни растений: посещая цветы, они берут на себя перенос пыльцы с тычинок на пестик. Цветок как бы приуготовлен и приукрашен в ожидании этого брачного посещения. Мне думается, я доказал, что нектарник цветка выделяет сладкую жидкость, которая привлекает насекомых, а тем самым заставляет их производить прямое или перекрестное оплодотворение. Наиболее частым является последний способ. Я показал, как у цветов окраска и аромат рассчитаны на привлеченье насекомых, а внутреннее их строение - на то, чтобы насекомые, проникая в венчик, откладывали на рыльце пестика налипшую на них пыльцу. Шпренгель, мой уважаемый учитель, говорил по поводу пушка, который выстилает венчик лесной герани: “Мудрый творец природы не создал ни одной пушинки бесполезно”, В свою очередь, я говорю: “Если полевая лилия, упоминаемая в Евангелии, вдета роскошнее царя Соломона, то ее пурпурная мантия - это мантия брачная, и роскошный пурпур необходим для продолжения ее потомства”*.

---

* Господин Сильвестр Бонар не знал о том, что очень известные натуралисты еще до него исследовали отношения между растениями и насекомыми. Он не знал работ господина Дарвина, работ доктора Германа Мюллера, а также наблюдений сэра Джона Леббока. Следует отметить, что заключения Сильвестра Бонара очень близки к заключениям этих трех ученых. Не так практически полезно, но довольно интересно заметить, что сэр Джон Леббок, как и г-н Бонар, - археолог, на склоне лет отдавшийся естественным наукам. (Прим. издателя.)

Броль*, 21 августа 1882 года.

---

* Броль - деревушка неподалеку от Фонтенбло. Там одно время жил друг детства А. Франса, Этьен Шараве, некоторые черты которого запечатлены в образе Сильвестра Бонара.

Броль! Мой дом - последний, в конце деревни, если идти к лесу. Дом со щипцом, с аспидной крышей, отливающей на солнце радугой, как голубиная грудь. Флюгер на крыше снискал мне больше уважения в округе, чем все мои работы по истории и филологии. Нет мальчишки, который бы не знал бонаровского флюгера. Он заржавел и при ветре пронзительно скрипит. Временами он перестает работать, как и Тереза, которая ворчит, но терпит помощь молодой крестьянки. Дом невелик, но я живу удобно. Моя комната в два окна, - первая, куда заглядывает солнце. Над нею - комната детей: Жанна и Анри приезжают сюда два раза в год.

Там же стояла и кроватка маленького Сильвестра. Это был хорошенький ребенок, но очень бледный. Когда он играл на траве, мать следила за ним тревожным взглядом и поминутно бросала шитье, чтобы взять его к себе на колени. Бедному малютке не хотелось засыпать. Он говорил, что когда спит, уходит далеко, очень далеко, где темно, где чудятся ему такие вещи, которых он боится и не хочет видеть.

Тогда мать звала меня, и я садился у его кроватки; горячей, сухой ручонкой он брал меня за палец и говорил:

- Крестный, ты мне расскажешь про что-нибудь?

Я сочинял всевозможные сказки и рассказы, а он серьезно слушал. Ему все нравилось, но одна сказка пленила его детскую душу больше всех:

сказка о голубой птице*. Когда я кончал, он говорил:

---

* Сказка о голубой птице. - Имеется в виду волшебная сказка “Голубая птица” французской писательницы Марии д’Онуа (ум. в 1705 г .).

- Еще! Еще!

Я начинал сначала, и его бледное с голубыми жилками личико никло к подушке.

Доктор на все наши вопросы отвечал:

- Ничего особенного!

Да! У маленького Сильвестра не замечалось ничего особенного. В прошлом году, однажды вечером, отец позвал меня:

- Пойдемте: маленькому хуже.

Я подошел к постельке, у которой недвижно стояла мать, прикованная к ней всеми силами души.

Маленький Сильвестр тихо обратил ко мне зрачки, все время уходившие под веки и не желавшие спускаться.

- Крестный, - сказал он, - больше не надо сказок. Да, ему больше не понадобилось сказок.

Бедная Жанна! Бедная мать!

Я слишком стар, чтобы сохранить чувствительность, но смерть ребенка поистине мучительная тайна.

Сегодня отец и мать вернулись на полтора месяца под кровлю старика. Вон они рука об руку идут из леса. Жанна в черной тальме, у Анри на соломенной шляпе - креп; но оба блещут юностью и нежно улыбаются друг другу, улыбаются земле, что носит их, воздуху, что овевает их, и свету, который они видят отраженным в глазах друг друга. Из своего окна я машу им платком, и они дарят улыбкой мою старость.

Жанна легко взбегает по лестнице, обнимает меня и шепчет на ухо слова так тихо, что я не столько слышу, сколько угадываю их. В ответ я говорю:

- Да благословит вас бог, Жанна, вас и вашего мужа, в самом отдаленном потомстве вашем. Et nunc dimittis servum tuum, Domine*.

____

* Ныне отпущаеши раба твоего, господи (лат.).

Примечание

Первый роман А. Франса, “Преступление Сильвестра Бонара, академика”, явился результатом творческого переосмысления более ранних замыслов. В декабре 1879 и январе 1880 г . в журнале “Revue Alsacienne” была опубликована новелла Франса “Фея”, впоследствии составившая первые три главы второй части романа. В ноябре 1880 г . в том же журнале появился эпизод, озаглавленный “Очень старая любовная история, страничка из записок Сильвестра Бонара, академика”. Этот эпизод был также включен затем в текст романа. Наконец, в ноябре 1880 г . в журнале “Jeune France” Франс опубликовал еще один фрагмент под названием “Военная хитрость, рассказ, извлеченный из неопубликованных записок Сильвестра Бонара, академика”, который в роман не вошел, но был частично использован в другом произведении Франса, “Книга моего друга” (ч. II, гл. IX).

Весь роман в первоначальном варианте увидел свет на страницах журнала “Nouvelle France” в декабре 1880 - январе 1881 г . В апреле 1881 г . он вышел отдельной книгой в издательство Кальман-Леви и вскоре удостоился академической премии. Однако Франс не прекращал работы над уже опубликованным и имевшим успех произведением. В издание 1902 г ., “пересмотренное и исправленное”, он внес значительные, по сравнению с первым изданием, изменения, исключил некоторые эпизоды, изменил характеристики (например, смягчил высказывание студента Жели об историке Мишле). Вторая часть романа, прежде озаглавленная “Дочь Клементины”, теперь получила новое название: “Жанна Александр”, а сама героиня сделалась уже не дочерью Клементины, былой возлюбленной Сильвестра Бонара, а ее внучкой. Благодаря этому изменению двусмысленное истолкование участия, которое старый академик принимает в судьбе девочки, делается еще более нелепым.

Время показало, что первый роман Франса остался дорог ему до конца жизни. В 1918 г . в соавторстве с Пьером Фронде он пишет пьесу “Преступление Бонара”, обращаясь все к тому же сюжету. Незадолго до смерти, в 1923 г ., готовя новое издание романа, он снова перерабатывает его: меняет последовательность отдельных событий, приближает время действия к современности. Теперь последняя запись в дневнике Сильвестра Бонара помечена не 1869 г ., как было в прежних изданиях, а 1882 г . Получается, что сатирическим изображением пансиона мадемуазель Префер и нелепостей законодательства автор метит не во Вторую империю, как было прежде, а в порядки буржуазно-республиканской Франции.

Вскоре после выхода в свет первого французского издания “Преступление Сильвестра Бонара” начали издавать в других странах. Первое отдельное издание на русском языке появилось в 1899 г . в Петербурге. В советское время роман Франса выходил шесть раз в разных переводах, в том числе дважды в собраниях сочинений А. Франса.